

Ефим Эткинд
Процесс
Иосифа Бродского



ПРОЦЕСС ИОСИФА БРОДСКОГО

Efim Etkind

**THE TRIAL
OF
IOSIF BRODSKY**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1988**

Ефим Эткинд

**ПРОЦЕСС
ИОСИФА
БРОДСКОГО**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1988**

Efim Etkind: PROTSESS IOSIFA BRODSKOGO

First Russian edition published in 1988
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Efim Etkind, 1988

Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1988

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 1 870128 70 2

Cover design by Andrzej Krauze

Printed in West Germany

1. СТРАННЫЙ ВЫБОР

Утром 23 октября 1987 года мне позвонили с телевидения, из редакции "Последних известий" канала "А-2". "Сегодня, – сказала мне сотрудница редакции, – сегодня в час дня станет известно имя нобелевского лауреата по литературе. Утверждают, что наиболее вероятный кандидат – Иосиф Бродский. Мы знаем вашу книгу "Записки незаговорщика", – судя по всему, вы с Бродским давно знакомы и сможете о нем рассказать телезрителям. Приходите около часу".

Я пришел на "А-2". Кроме меня, была приглашена еще специалистка по латиноамериканской литературе; она тоже ждала – был возможен и другой лауреат. Одним из кандидатов был Октавио Паз (Paz), блестящий мексиканский поэт и эссеист, автор многих стихотворных сборников и таких знаменитых теоретических

трактатов о поэзии, как "Лук и лира" (L'Arc et la Lyre, 1956) и "Точка схождения" (Point de convergence, 1973). Он был серьезным соперником; несколько лет назад, в 1982 году, именно он, Октавио Паз, триумфально победил многих конкурентов, получив в Оклахоме крупнейшую после нобелевской литературную премию, — Премию Нойштадт. В тот раз на мою долю выпала честь быть членом жюри в Оклахоме; среди кандидатов были известные писатели: швейцарец Макс Фриш, американец Роберт Пен Уоррен, француз Эжен Гильвик, русский Владимир Войнович. Мексиканец Паз всех их обошел. За два года до того ему присудили национальную премию Мексики "Олин Йолицли" (Ollin Yoliztli Prize of Mexico), за год — испанскую премию Сервантеса, которую вручил О. Пазу король Хуан Карлос. Нобелевской премии нередко предшествуют другие крупнейшие литературные награды: понятно, что Октавио Паз представлялся мне абсолютно реальным "нобелеатом".

Среди ожидаемых в 1987 году были и другие кандидаты, например, советский русско-киргизский писатель Чингиз Айтматов. Он тоже не из тех, кого можно было бы сбросить со счета: автор широко известных романов и повестей, в том числе нашумевшего в недавнем прошлом и действительно замечательного романа "И дольше века длится день" и еще более знаменитой "Плахи" — первого литературного произведения, в котором полно изложена программа предстоящих в СССР экономических и идеологических реформ; совсем недавно Айтматов созвал у себя в Средней Азии, на берегу озера Иссык-Куль, форум писателей всего мира, посвященный идеям советской "перестройки" — тому, что в Советской России теперь называют "новым мышлением", да и новым формам

противостояния войне. Известно, что Чингиз Айтматов близок Горбачеву, который высоко ценит его как писателя и человека; перед гостями Айтматова Горбачев высказал одну из важнейших мыслей, оказавшихся теперь в основе обновленной советской идеологической жизни: общечеловеческие ценности гораздо важнее классовых. Два-три года тому назад за такое утверждение любого коммуниста могли бы исключить из партии!.. Теперь это говорит Горбачев гостям Айтматова, зная, что киргизский писатель разделяет такую точку зрения и что она придется по вкусу и Артуру Миллеру, приехавшему из США, и Клоду Симону, французскому гостю.

Зачем я все это рассказываю? Имеют ли эти посторонние факты отношение к герою настоящей книжки? Да, имеют. Дело в том, что в тот день, 23 октября, в 13 часов 02 минуты, из аппарата телекс поползла лента, и первые, кто прочитал ее, стали кричать: "Бродский, Бродский!.."

Итак, Шведская Академия предпочла Иосифа Бродского и Октавио Пазу, и Чингизу Айтматову (да и ряду других). У Бродского нет и четверти того количества стихотворных сборников, которые издал за свою семидесятилетнюю жизнь Октавио Паз, нет у него и таких теоретических трактатов о поэзии, времени, пространстве, причинности, которые прославили на весь мир великолепного мексиканца. У Бродского нет и доли той известности, которой обладает Чингиз Айтматов, большинство сочинений которого ("Белый пароход", "Джамиля", "Прощай, Гюльсары!"), переведены на многие языки; на французский книгу "Джамиля" (1958) перевел сам Арагон. К тому же Айтматов — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, обладатель многих титулов и званий как

литературных, так и государственных, ему 60 лет. А Бродский? Ни одного звания, ни одного титула. Да и возраст не тот: моложе шестидесяти лет нобелевских лауреатов почти не бывало (за исключением только одного: Камю), ему — 47 лет. Бродский — сугубо частное лицо; позднее, в своей Нобелевской лекции, он сказал (и даже с этого начал лекцию): "Для человека частного и частность эту всю свою жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности, от Родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание".

Нобелевского лауреата долго не оставляют в покое: Иосифу Бродскому пришлось давать десятки интервью — газетам, радио, телекомпаниям всех стран. И он постоянно утверждал эту свою "частность": ни разу он себе не изменил, не поднялся на ходули, не поддался искушению учить человечество уму-разуму. Он был таким и в Стокгольме, на церемонии вручения премии, и на пресс-конференциях, где он твердил свою любимую мысль: "Нынешняя Нобелевская премия — это премия русскому языку... Писатель — всего лишь оружие языка, а не наоборот".

Так что же заставило Шведскую Академию отодвинуть в тень убеленных сединами, увенчанных премиями, орденами, титулами и собраниями сочинений писателей — и предпочесть им мало кому на Западе известного, сугубо частного, да и к тому же (по их масштабам) очень молодого человека? Добавим к сказанному, что стихи Бродского трудны для перевода, и подавляющее большинство переводов, которые мне известны, доволь-

но слабы, даже просто плохи: они не передают и части того обаяния, которое содержится в оригинале.

И вот что еще надо сказать. Во всех странах Запада поэты уже несколько десятилетий пишут верлибром — свободными, близкими к прозаической форме стихами; они почитают рифмы признаком обветшалого, архаического вкуса, а уж строфическое строение стихотворений — тем более. Они — во всяком случае большинство из них — видят в понятности поэзии нечто ей, поэзии, враждебное, превращающее ее в элементарную прозу. Поэзия должна предназначаться малой группе ценителей, узкой элите, а если кто из читателей не понимает прихотливых ассоциаций или субъективных намеков поэта — что же, тем хуже для них, для читателей. Иосиф Бродский с этой точки зрения — поэт несовременный, в его сочинениях преобладает вкус "ретро". Шведская Академия и в этом смысле пошла наперекор ожиданиям: в современном мире немало заслуженных поэтов, пишущих "модерные" стихи, вроде, например, Рене Шара или Ива Бонфуа во Франции — оба они писатели первоклассные, а их верлибры — вполне в духе времени. Шведская Академия на сей раз оставила их в тени, избрав поэта, сторонника архаических форм. Вот только два примера характерных для Иосифа Бродского строфических форм:

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля — дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадет, то думалось — навеки,

что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
 не веря, что их пробуют спасти,
 метались там, как бабочки в горсти.

*

Дверь тихо притворившая рука
была — он вздрогнул — выпачкана; пряча
ее в карман, он услышал, как сдача
с вина плеснула в недрах пиджака.

Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки.
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
и почему-то вдруг с набрякших губ

слетела ругань...

Давая Нобелевскую премию Иосифу Бродскому, Шведская Академия пренебрегла его неизвестностью, его возрастом, архаичностью его поэтических форм и, наконец, старомодной классичностью его образов и тем: в его стихах то и дело появляются Одиссей и Телемак, римские императоры и полководцы, латинские поэты, Эвклид и Диоскуры. Значит, он убедил академиков чем-то таким, что важнее перечисленных мнимых слабостей. Да и написали они в своем решении, что поэзия Бродского отличается необыкновенной интенсивностью духовной и интеллектуальной жизни, широкими общекультурными горизонтами и блеском художественной формы. Иначе говоря, он — большой поэт. А если так, не все ли равно, сколько ему лет,

сложная ли у него строфика или белые стихи (которых тоже немало), производит ли он на дилетантов впечатление "ретро", ссылается ли на древнегреческих богов...

2. МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ИЛИ ПОЭТИЧЕСКАЯ МЕТАФИЗИКА

В 1972 году Иосифу Бродскому пришлось уехать из Советской России. Теперь он русский поэт, живущий в Нью-Йорке, американский еврей, вытолкнутый в эмиграцию. Политика его не увлекает. Об этом он очень ясно заявил в Нобелевской лекции: "Подлинной опасностью для писателя является не столько возможность (часто реальность) преследований со стороны государства, сколько возможность оказаться загнипнотизированным его, государством, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему — но всегда временными — очертаниями". Для Иосифа Бродского литература и, в особенности, поэзия относится к политике как вечное к эфемерному, как абсолютное к преходящему: "Язык и, думается, литература, — вещи более древние, нежели любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые литературой зачастую по отношению к государству, есть, по существу, реакция постоянного, лучше сказать, бесконечного, по отношению к временному, ограниченному". Иосиф Бродский живет в таких сферах, откуда политику даже не видно; в лучшем случае, она представляется взгляду поэта как некое бессмысленное копошение, как бестолковое и бесплодное столкновение мелкокорыстных самолюбий. Так было, в сущности, с самого начала. Первое же сти-

хотворение, которое стало широко известным в кругах советской молодежи, называлось "Пилигримы" (1961) — оно никогда не было опубликовано в СССР, но студенты шестидесятых годов распевали его под аккомпанемент гитары:

ПИЛИГРИМЫ

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы
идут по земле
пилигримы.

Увечны они, горбаты.
Голодны, полуодеты.
Глаза их полны заката.
Сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды дрожат над ними,
и хрипло кричат им птицы,
что мир останется прежним.

Да. Останется прежним.
Ослепительно снежным.
И сомнительно нежным.
Мир останется лживым.
Мир останется вечным.

Может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.

И значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
И значит, остались только
Иллюзия и Дорога.
И быть над землей закатам.
И быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

О чем эта песня? О сегодняшнем человечестве, бредущем без цели и смысла по планете и понимающем, что ничего никогда не изменится и что все идеи земного рая, еще недавно владевшие людьми, всего лишь иллюзии. В этом стихотворении, перекликающемся с "Бродячими акробатами" (Les Saltimbanques) Гийома Аполлинера, нет никакой политики. Как, впрочем, нет ее у Аполлинера:

Мимо ворот постоянных дворов,
Мимо фруктовых садов,
Идут акробаты дорогой своей,
Через деревни, где нет церквей...

Перевод М. Кудинова

Dans la plaine les baladins
S'éloignent au long des jardins...
Devant l'huis des auberges grises
Par les villages sans églises...

Политики нет, но само по себе ее отсутствие — политика. Потому что, поднявшись на высокий уровень и глядя на землю с такой точки, о которой можно сказать словами Александра Блока — “Где кажется земля звездой, Землею кажется звезда”, откуда видны Рим и Мекка, храмы и бары, кладбища и цирковые арены, восходы и закаты, поэт не испытывает ничего, кроме презрения к тем, кто делает вид, что ведет человечество в обетованный край социальной справедливости. Какие уж тут политические партии, социальные идеологии, классовые сражения, когда под нами Земля, и о ней сказано: “Удобрить ее солдатам, Одобрить ее поэтам”. *Солдаты*: здесь они безнациональны, надклассовы. Просто люди. Люди, которым суждено на этой земле умереть и в ней — сгнить.

Это — политика или нет? Антиполитика оказывается опаснее и страшнее инакомыслия в пределах политического мышления. Бродский со своей поэтической метафизикой появился в самом начале шестидесятых годов, еще не было широкого движения “Зеленых”, представляющих сегодня крепнущее антиполитическое движение, а уже был сборник Бродского “Холмы”, так никогда и не увидевший света в России — это была *экологическая поэзия*.

Давайте проясним терминологию. К слову *экология* многие относятся иронически: по мнению многих, экологией увлекаются фантазеры, думающие, будто можно сентиментальными речами остановить технический и социальный прогресс и защитить траву, лес, озера, воздух, море от варварского загрязнения; это — смешные потуги, благородные порывы современных Дон-Кихотов. Таков распространенный обывательский взгляд. Между тем, экология — современная философия, противостоящая всем, недавно еще столь мо-

гущественным, социально-политическим утопиям. Согласно экологическому взгляду на мир, друг другу противостоят не столько буржуазия и пролетариат — *классы*, или иранцы и иракцы — *нации*, или белые и черные — *расы*, сколько природа — и цивилизация, мироздание — и человек, человек, творец техники, апостол научного прогресса. Для Иосифа Бродского важнее всего то противопоставление, о котором он говорил в Нобелевской лекции: постоянное и бесконечное, с одной стороны, временное и ограниченное — с другой.

Презрение к политическим демагогам и аферистам проявилось у Бродского уже в молодости, когда он только начинал. Понятно, что советские чиновники не могли отнестись к этому равнодушно. Они толком не понимали, о чем этот еврейский мальчик пишет и говорит, — они нюхом чуяли нечто им враждебное. К тому же всё в нем их раздражало: живет он иначе, чем все, — это при советской "социалистической" системе, а точнее, при казарменном строе коммунистического режима было само по себе недопустимо; учится не так, как другие, — а может быть, и вовсе не учится? Хуже всего то, что вокруг этого бездельника толпятся поклонники и обожательницы — отсюда рукой подать до бунта.

3. НАЧАЛО ТРАВЛИ

В один прекрасный день ленинградцы, никогда не слышавшие ни о каком Бродском, прочитали в своей газете "Вечерний Ленинград" (29 ноября 1963 года) статью, которую мы теперь, ровно четверть века спустя, предлагаем вниманию читателей. Вот она:

”ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРУТЕНЬ”

Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках — неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы.

Приятели звали его запросто Осей. В иных местах его величали полным именем — Иосиф Бродский.

Бродский посещал литературное объединение начинающих литераторов, занимающихся во Дворце культуры им. Первой Пятилетки. Но стихотворец в вельветовых штанах решил, что занятия в литературном объединении не для его широкой натуры. Он даже стал внушать пиущей молодежи, что учеба в таком объединении сковывает-де творчество, а посему он, Иосиф Бродский, будет карабкаться на Парнас единолично.

С чем же хотел прийти этот самоуверенный юнец в литературу? На его счету был десяток-другой стихотворений, переписанных в тоненькую школьную тетрадку, и все эти стихотворения свидетельствовали о том, что мировоззрение их автора явно ущербно, ”Кладбище”, ”Умру, умру...” — по одним лишь этим названиям можно судить о своеобразном уклоне в творчестве Бродского. Он подражал поэтам, проповедовавшим пессимизм и неверие в человека, его стихи представляют смесь из декадентщины, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины. Жалко выглядели убогие подражательские попытки Бродского. Впрочем, что-либо самостоятельное он сотворить не мог, силенок не хватало. Не хватало знаний, культуры. Да и какие

могут быть знания у недоучки, у человека, не окончившего даже среднюю школу?

Вот как высокопарно возвещает Бродский о со-творенной им поэме-мистерии:

”Идея поэмы – идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она гимн баналу.

Цель достигается путем вкладывания более или менее приблизительных формулировок этих представлений в уста двадцати не так более, как менее условных персонажей. Формулировки облечены в форму романсов”.

Кстати, провинциальные приказчики некогда тоже обожали романсы. И исполняли их с особым надрывом, под гитару.

А вот так называемые желания Бродского.

”От простудного продувания / Я укрыться хочу в книжный шкаф”.

Вот требования, которые он предъявляет: ”Накормите голодное ухо / Хоть сухариком...”

Вот его откровенно-циничные признания: ”Я жую всеобщую нелепость / И живу единым этим хлебом”.

А вот отрывок из так называемой мистерии: ”Я шел по переулку, / Как ножницы – шаги. / Вышагиваю я / Среди бела дня / По перекрестку, / Как по бумаге / Шагает некто / Наоборот – во мраке”.

И это именуется романсом? Да это же абракадабра!

Уйдя из литературного объединения, став кустарем-одиночкой, Бродский начал прилагать все усилия, чтобы завоевать популярность у молодежи. Он стремится к публичным выступлениям, и от случая к случаю ему удается проникнуть на трибуну. Несколько раз Бродский читал свои стихи в общежитии Ленинградского Университета, в библиотеке им. Маяковского, во Дворце культуры им. Ленсовета. Настоящие любители поэзии

отвергли его романсы и стансы. Но нашлась кучка эстетствующих юнцов и девиц, которым всегда подавай что-нибудь "остренькое", "пикантное". Они подняли восторженный визг по поводу стихов Бродского.

Эти юнцы и девицы составляют так называемую околомитературную среду. Они вертятся вокруг модных поэтов, устраивают ажиотаж на их выступлениях, гоняются за автографами. Они и сами пописывают стишки. Иной юнец, только что окончивший среднюю школу, поднадужившись, сотворит от силы несколько стихов и уже мнит себя законченным поэтом. На этом основании он ничем, кроме писания плохих стихов, не занимается. И работать этот мнимый поэт нигде не работает, и в литературе в общем-то ничего не смыслит. Зато он ведет "творческую" жизнь.

Эту жизнь он понимает так. Сон допоздна. Потом прогулка по Невскому. В Доме книги он кокетничает с продавщицей отдела поэзии Люсей Левиной, главным образом, в надежде, что она снабдит его какой-нибудь модной поэтической новинкой. Далее — посещение редакции, той, в которой сидят не очень строгие в смысле требовательности люди, материально поддерживающие околомитературных личностей своими заказами. Вечером — ресторан или кафе. Столик. Бокал коктейля. Тут же приятель, которого называют не иначе как Джеф или Джек, и девица, обязательно в очках, обязательно с копной взъерошенных волос. Вот так, глядишь, и день прошел. Бессмысленное, никому не нужное житье!

Кто же составлял и составляет окружение Бродского, кто поддерживает его своими восторженными "ахами" и "охами"?

Мариамма Волнянская, 1944 года рождения, ради божественной жизни оставившая в одиночестве свою мать-

пенсионерку, которая глубоко переживает это; приятельница Волнянской — Нежданова, проповедница учения игогов и всяческой мистики; Владимир Швейгольц, физиономию которого можно было не раз обзреть на сатирических плакатах, выпускаемых народными дружинами (этот Швейгольц не гнушается обирать бесстыдно мать, требуя, чтобы она давала ему из своей небольшой зарплаты деньги на карманные расходы); уголовник Анатолий Гейхман; бездельник Ефим Славинский, предпочитающий пару месяцев околачиваться в различных экспедициях, а остальное время вообще нигде не работать, вертеться возле иностранцев. Среди ближайших друзей Бродского — жалкая окололитературная личность Владимир Герасимов и скупщик иностранного барахла Шилинский, более известный под именем Жоры.

Эта группка не только расточает Бродскому похвалы, но и пытается распространять образцы его творчества среди молодежи. Некий Леонид Аронзон перепечатывает их на своей пишущей машинке, а Григорий Ковалев, Валентина Бабушкина и В. Широков, по кличке "Граф", подсовывают стишки желающим.

Как видите, Иосиф Бродский не очень разборчив в своих знакомствах. Ему не важно, каким путем вскарабкаться на Парнас, только бы вскарабкаться. Ведь он причислил себя к сонму "избранных". Он счел себя не просто поэтом, а "поэтом всех поэтов". Некогда Игорь Северянин произнес: "Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоен: я повсеградно озкранен, я повсесердно утвержден!" Но сделал он это в сущности ради бравады. Иосиф Бродский же уверяет всерьез, что и он "повсесердно утвержден".

О том, какого мнения Иосиф Бродский о самом себе, свидетельствует, в частности, такой факт: 14 февраля

1960 года во Дворце культуры им. Горького состоялся вечер молодых поэтов. Читал на этом вечере свои замогильные стихи и Иосиф Бродский. Кто-то, давая настоящую оценку его творчеству, крикнул из зала: "Это не поэзия, а чепуха!" Бродский самонадеянно ответил: "Что позволено Юпитеру, не позволено быку".

Не правда ли, какая наглость? Лягушка возомнила себя Юпитером и пыжится изо всех сил. К сожалению, никто на этом вечере, в том числе председательствующая — поэтесса Н. Грудинина, не дал зарвавшему наглецу надлежащего отпора.

Но мы еще не сказали главного. Литературные упражнения Бродского вовсе не ограничивались словесным жонглированием. Тарабарщина, кладбищенско-похоронная тематика — это только часть "невинных" увлечений Бродского. Есть у него стансы и поэмы, в которых авторское "кредо" отражено более ярко. "Мы — пыль мироздания", — авторитетно заявляет он в стихотворении "Самоанализ в августе". В другом, посвященном Нонне С., он пишет: "Настройте, Нонна, и меня на этот лад, чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки". И наконец, еще одно заявление: "Люблю я родину чужую".

Как видите, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он любит "родину чужую", Бродский был предельно откровенен. Он в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине.

Однажды по приглашению своего дружка О. Шахматова, ныне осужденного за уголовное преступление, Бродский спешно выехал в Самарканд. Вместе с тощей тетрадкой своих стихов он захватил и "философский

трактат” некоего А. Умлянского. Суть этого трактата состояла в том, что молодежь не должна-де стеснять себя долгом перед родителями, перед обществом, перед государством, поскольку это сковывает свободу личности. ”В мире есть люди черной кости и белой. Так что к одним (к черным) надо относиться отрицательно, а к другим (к белым) положительно”, — поучал этот вконец разложившийся человек, позаимствовавший свои мыслишки из идеологического арсенала матерых фашистов.

Перед нами лежат протоколы допросов Шахматова. На следствии Шахматов показал, что в гостинице ”Самарканд” он и Бродский встретились с иностранцем. Американец Мелвин Бей пригласил их к себе в номер. Состоялся разговор.

— У меня есть рукопись, которую у нас не издадут, — сказал Бродский американцу. — Не хотите ли ознакомиться?

— С удовольствием сделаю это, — ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес: — Идет. Мы издадим ее у себя. Как прикажете подписать?

— Только не именем автора.

— Хорошо. Мы подпишем ее по-нашему: Джон Смит.

Правда, в последний момент Бродский и Шахматов струсили. ”Философский трактат” остался в кармане у Бродского.

Там же, в Самарканде, Бродский пытался осуществить свой план измены Родине. Вместе с Шахматовым он ходил на аэродром, чтобы захватить самолет и улететь на нем за границу. Они даже облюбовали один самолет, но, определив, что бензина в баках для полета за границу не хватит, решили выждать более удобного случая.

Таково неприглядное лицо этого человека, который,

оказывается, не только пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией, но и вынашивает планы предательства.

Но, учитывая, что Бродский еще молод, ему многое прощали. С ним вели большую воспитательную работу. Вместе с тем, его не раз строго предупреждали об ответственности за антиобщественную деятельность.

Бродский не сделал нужных выводов. Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний парень около четырех лет не занимается общественно полезным трудом. Живет он случайными заработками; в крайнем случае подкинет толику денег отец — внештатный фотокорреспондент ленинградских газет, который, хоть и осуждает поведение сына, но продолжает кормить его. Бродскому взяться бы наконец за ум, начать наконец работать, перестать быть трутнем у родителей, у общества. Но нет, никак он не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любим, даже самым нечистоплотным путем.

Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому как Бродский не место в Ленинграде.

Какой вывод напрашивается из всего сказанного? Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути. И их нужно строго предупредить об этом. Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получают самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду!

А. Ионин, Я. Лернер, М. Медведев

Замечательный документ эпохи! Если бы герой этой статьи не получил Нобелевской премии 1987 года, она

все равно производила бы сегодня сильное впечатление. Не будем, однако, забывать о том, что этот самый юноша, который хочет "карабкаться на Парнас единолично", через двадцать четыре года уже не в вельветовых штанах, а во фраке будет получать из рук короля Швеции диплом первого поэта. В Советском Союзе пытались было глухо намекнуть на то, что эта премия — политическая, что Шведская Академия присудила ее Бродскому потому, что он, дескать, диссидент. Во-первых, Иосиф Бродский никакой не диссидент и никогда таковым не был; уехал он не потому, что боролся против советского режима, а потому, что советский режим боролся против него, его оплевывал, унижал, уничтожал. Ну, а во-вторых, Нобелевская премия по литературе не может быть чисто политической: ведь дается она за произведения, которые всякий человек на земном шаре может прочитать — и самостоятельно удостовериться, имеют ли они литературную ценность или не имеют. После того, как шведский король вручил Иосифу Бродскому диплом лауреата, его стихи и его эссеистическая проза стали появляться во всех странах; издательства соревнуются друг с другом, кто раньше и лучше издаст. В эту игру включился и Советский Союз: через два месяца после решения Шведской Академии несколько стихотворений Бродского опубликовал и крупнейший литературный журнал СССР "Новый мир". Однако в предисловии редакции о стихах Бродского не было сказано того, что писал "Вечерний Ленинград": "...его стихи представляют смесь из декадентщины, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины". Западный читатель может с недоумением спросить: "А зачем об этом вспоминать? Мало ли что писала двадцать пять лет назад какая-то провинциальная газетка, какой-то

желтый листок!" Дело, однако, в том, что в СССР любая газета — официальный орган партии и правительства, и непровергнутое суждение партийной прессы сохраняет свою весомость: оно выражает мнение партии, которая, как римский папа, отличается непогрешимостью — не может ошибаться.

За что же все-таки "Вечерний Ленинград" обрушился на молодого человека, неизвестного широкой публике, ничего еще не напечатавшего и ни в каких скандалах не замешанного? По тексту статьи можно многое понять. Попробуем снабдить его комментарием.

4. ДЕСЯТЬ ОБВИНЕНИЙ

Первое обвинение. "...он, Иосиф Бродский, будет карабкаться на Парнас единолично". Как же так? В советском обществе господствуют законы коллективизма, а этот рыжий юноша хочет войти в литературу сам, минуя установленные порядки. Порядок такой: существуют литературные объединения, где молодые писатели и поэты обучаются под руководством проверенных преподавателей. Он хочет "единолично": значит, он выражает недоверие всей нашей системе. Заметим и то, что само по себе слово "единоличник" применялось к крестьянам, не желавшим идти колхоз; в свое время их приравнивали к кулакам или "подкулачникам" и отправляли в Сибирь. Таков вполне очевидный подтекст.

Второе обвинение. Все стихотворения, "переписанные в тоненькую школьную тетрадку" "свидетельствовали о том, что мировоззрение их автора явно ущербно..." Молодой "единоличник" позволяет себе думать о смерти — что же он за советский человек? "Наш" должен быть оптимистом; "Жить стало лучше,

жить стало веселее!” – утверждал когда-то Сталин, но и в 1963 году, несмотря на ”оттепель”, закон обязательного оптимизма не был отменен. Этот же зловерный ”трутень” ”подражал поэтам, проповедывавшим пессимизм и неверие в человека”, что равно государственному преступлению. Все это так, но, на самом деле, еще серьезнее. В статье упоминается ”Кладбище”; у юного Бродского в той самой тетрадке было действительно стихотворение на такую тему, оно называется не просто ”Кладбище”, но – ”Еврейское кладбище под Ленинградом”. Так что дело не только в ”загробной теме”, но и в том, что Бродского можно, пусть молча, пусть только для понимающих, а все же обвинить в еврейском национализме. Вот это стихотворение:

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для себя пели.
Для себя копили.
Для других умирали.
Но сначала платили налоги,
уважали пристава,
и в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.

Может, видели больше.
Может, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.

И не сеяли хлеба.

Никогда не сеяли хлеба.

Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.

И навек засыпали.

А потом их землей засыпали,
зажигали свечи,
и в день Поминовения
голодные старики высокими голосами,
задыхаясь от холода, кричали об успокоении.

И они обретали его.

В виде распада материи.

Ничего не помня.

Ничего не забывая.

За кривым забором из гнилой фанеры,
в четырех километрах от кольца трамвая.

Есть в этом стихотворении строчки, которые, вырвав из контекста, можно интерпретировать как "национализм". Это и хотели авторы статьи в "Вечернем Ленинграде". И.Бродский ни тогда, ни потом от своего еврейства не отрекался — во время пресс-конференции в Стокгольме он ответил журналисту на вопрос, кем он себя считает: "Я чувствую себя евреем, хотя никогда не воспитывался в еврейских традициях. Но своим родным языком, безусловно, считаю русский". Всякий национализм — и еврейский, и русский, или, скажем, американский — Иосифу Бродскому глубоко чужд. Однако статья "Вечернего Ленинграда" содержала и этот укол, для молодого еврея особенно опасный.

Третье обвинение. Выше уже говорилось об этом:

Бродскому приписывалась "декадентщина и модернизм", то есть, в терминологии вульгарной советской критики, буржуазность, чуждость "социалистическому реализму", ну, а заодно и пристрастие к непонятности, к абсурду, к бессмысленности, — иначе говоря, пренебрежение читателем и, следовательно, то, что в партийной печати принято было называть — антинародностью.

Четвертое обвинение. "...недоучка, человек, не окончивший даже среднюю школу". Это тоже связано с нарушением степеотипа: советский человек обязан двигаться по рельсам, приготовленным для него начальством, — сбиваться с пути ему нельзя. Самообразования не бывает, потому что не может быть: это форма буржуазного индивидуализма; всякая попытка освободиться от предписанного маршрута есть форма бунта.

Пятое обвинение: поэма-мистерия, которую написал молодой Бродский; эта поэма существует, она называется "Шествие" и среди молодежи шестидесятых годов она имела успех. Но поэма эта условная, даже аллегорическая, — она не могла не вызвать ярость партийных критиков.

Шестое обвинение: Бродский стремится к публичным выступлениям и вызывает интерес "юнцов и девиц", которые "подняли восторженный визг..." Очень опасно! "Единоличник", ни к каким организациям отношения не имеющий, приобретает влияние среди молодежи: отсюда тоже недалеко до бунта.

Седьмое обвинение: Иосиф Бродский — бездельник, тунеядец, он "ничем, кроме писания плохих стихов, не занимается". Суть не в том, плохие стихи или хорошие, а в ином; писать стихи — не работа, надо жить, как все: идти на завод или хотя бы подметать

улицу. Иначе жизнь этого человека — "бессмысленное, никому не нужное житье".

Восьмое обвинение. Кто окружает Бродского? *Мариямма*, Владимир *Швейгольц*, Анатолий *Гейхман*, *Ефим Славинский*, Леонид *Аронзон*... Типичные еврейские фамилии. Тема "кладбища" продолжается: еврейский национализм. И кто они все такие? "Жалкая околотературная личность", "скупщик иностранного барахла", "уголовник".

Девятое обвинение. Бродский сетует на то, что действительность принуждает его (всякого человека!) лгать: "...жить и лгать, плести о жизни сказки". Конечно, авторы статьи знали не только эту строчку, но и прекрасное стихотворение, содержащееся в той же тетрадке. Оно называется "Памятник":

Поставим памятник
в конце длинной городской улицы
или в центре широкой городской площади,
памятник,
который впишется в любой ансамбль,
потому что он будет
немного конструктивен и очень реалистичен.
Поставим памятник,
который никому не помешает.

У подножья пьедестала
мы разобьем клумбу,
а если позволят отцы города, —
небольшой сквер,
и наши дети
будут жмуриться на толстое
оранжевое солнце,
принимая фигуру на пьедестале

за признанного мыслителя,
композитора
или генерала.

У подножия пьедестала — ручаюсь —
каждое утро будут появляться
цветы.

Поставим памятник,
который никому не помешает.
Даже шоферы
будут любоваться его величественным силуэтом.
В сквере
будут устраиваться свидания.
Поставим памятник,
мимо которого мы будем спешить на работу,
около которого
будут фотографироваться иностранцы.
Ночью мы подсветим его снизу прожекторами.

Поставим памятник лжи.

От таких утверждений — от "памятника лжи" —
недалеко и до "измены родине", которая и составляет
следующее,

десятое обвинение. Так ведь прямо и сказано, что
Бродским "долгое время вынашивались планы измены
Родине". А уж за такое преступление трибунал мог бы
дать Бродскому смертную казнь! Да, он собирался
предать свою страну и с этой целью вдвоем с приятелем
"ходил на аэропорт, чтобы захватить самолет и
улететь за границу". И ведь не украли они самолет
только потому, что определили: "бензина в баках для
полета за границу не хватит". Как же они, два
приятеля, установили, что бензина мало? И как они

собирались угнать самолет — ведь для этого надо, как минимум, уметь им управлять? Газета "Вечерний Ленинград" подобной мелочью не интересовалась — зачем ей правдоподобие? Вывод статьи: "Такому, как Бродский, не место в Ленинграде". Значит, надо его выслать. Арестовать. Отправить в лагерь. Или просто в ссылку, как тунеядца.

Вот, что содержалось в статье "Вечернего Ленинграда", первом отзыве прессы о личности и произведениях будущего Нобелевского лауреата. Статья была началом травли — она может служить произведением образцовым в своем роде. Этот литературный род называется политическим доносом. От обычного доноса такая статья отличается тем, что не является секретным документом, как всякий полицейский донос. Напротив, ее задача — вызвать народное негодование, натравить чернь на юного бездельника и жуира: дескать, вы все, читатели "Вечернего Ленинграда", с утра до вечера корпите на работе, в поте лица своего добывая трудовую копейку, а этот здоровый молодой еврей-тунеядец сочиняет абракадабру, изображает из себя творческую личность, болтается по ресторанам, да только и думает, как бы украсть самолет и удрать на гнилой Запад, чтобы там любоваться стриптизами и щеголять в джинсах.

5. ПОЭТ-ТУНЕЯДЕЦ

Я слышал о молодом поэте Иосифе Бродском и до шестьдесят третьего года; тон, которым говорили о его стихах даже записные скептики, был неизменно восторженным. Мне ничего на глаза не попадалось. В ту пору Самиздата почти не было. Стихи из уст в

уста (а значит, иногда из рук в руки) передавались, но только политические. Пожалуй, наибольшей известностью пользовались тогда твердые и нарочито ко-рявые строки Бориса Слуцкого; от имени поколения он подводил поэтические итоги едва миновавшей сталин-ской ночи:

...Все спали. Только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,

Как будто выдирали
Из пересохшей почвы
Его приказов — окрик,
Его декретов — почерк,
Следы трехдневной смерти
И старые следы
Тридцатилетней власти
Величья и беды.

Бродский политическим поэтом не был, его стихи не переписывали и друг другу не передавали. Однажды мне принесли несколько страничек, и то, что я прочел, меня сразу поразило: долго я не мог отделаться от безнадежно монотонных, гнетущих и все же чарующе музыкальных строк:

Был черный небосвод светлей тех ног,
и слиться с темнотою он не мог.
В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня...

Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди.
Как место между ребрами в груди.
Как ямка под землю, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.

Но все-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его белели, как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.

Как будто был он чей-то негатив...

Не удивительно ли, что эти страшные стихи о смерти создал двадцатилетний юноша? Что он, совсем еще мальчик, так владел словом, ритмом, поэтическим образом? Что в его воображении рождались небывало парадоксальные сравнения и метафоры? "Так черен, как внутри себя игла". "Глаза его белели, как щелчок"... Какой поэт! К тому же почти от всех, известных мне, он отличался современностью своей эстетики; то, что писал он, было – после Цветаевой, после Маяковского, после Хлебникова, а, главное, после Мандельштама. Он решал новые задачи, которые ставил себе сам и которые ставило время. Вскоре я узнал другие его стихи, ничуть не веселее тех, о черном коне:

Смерть — это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть — это все мужчины,
галстуки их висят...

Смерть — это наши силы,
наши труды и пот.
Смерть — это наши жилы,
наша душа и плоть.

Мы больше на холм не выйдем.
В наших домах огни.
Это не мы их не видим —
нас не видят они.

Только критик-демагог с куриными мозгами мог ополчиться на молодого поэта за пристрастие к "загробным темам". Уже для романтиков — вспомним юного Жуковского, переводчика элегии Томаса Грея "Сельское кладбище", — открылась горестная истина: какой бы смерть ни казалась далекой, она тут же рядом, она составляет неотторжимую часть жизни, она нарастает постепенно, приобретает материальные черты, становящиеся все более ощутимыми. Эти мысли унаследовал и глубоко развил Иосиф Бродский; его первое эмигрантское стихотворение называется "1972 год" — оно — о старении:

Старение! В теле все больше смертного.
То есть ненужного в жизни...

...Здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы...

Переход из жизни в смерть — это постепенное превращение "тела в голую / вещь", "Это и к лучшему. Чувство ужаса / вещи не свойственно. Так что лужица / Подле вещи не обнаружится, / Даже если вещичка при смерти".

Иосиф Бродский уже за десять лет до этого стихотворения был и мастером, и философом. Про такие стихи нельзя сказать, что они, как многие стихи молодых поэтов, насквозь литературны, или, напротив, вне всякой традиции: в них с неправдоподобной зрелостью соединились жизнь, опыт собственных переживаний и раздумий — с утонченнейшей, предельно концентрированной литературностью, с органически усвоенными формами.

Обычно современники плохо понимают предназначение и смысл рождающейся на их глазах новой поэзии. Даже самые пронизательные только спустя годы, — а то и десятилетия, — задним числом обнаруживают, в чем был смысл того литературного новаторства, которое со временем становится привычным и даже несомненным, естественным и, так сказать, неопровержимым стилем. Когда появился юный Иосиф Бродский со стихами о философских отвлеченностях и абсолютных величинах, мало кто понимал, что он — сын времени, которое в ту пору, в начале шестидесятых, только начиналось. Особенности этого Времени: кризис всех социально-политических идей, ценностей, идеалов. Все то, во что верило еще недавно несколько поколений, теперь оказалось пустышкой — воздушный шарик лопнул, осталась тряпочка, жалкий, мокрый лоскуток. Теперь, когда какой-нибудь писатель всерьез заводил разговор о социализме или благодеяниях революции, это вызывало в лучшем случае смех или скуку, в худшем — раздражение, даже презрение. Евгению Евтушенко,

недавно, в пятидесятых и даже шестидесятых годах, столь популярному, новые поколения уже не могли простить дифирамбы строителям Братской ГЭС; а над Андреем Вознесенским, избалованным молодыми читателями и слушателями, после появления "Лонжюмо", где воспевался Ленин, открыто иронизировали. Вместе с политикой отошла на задний план даже история с ее недавно всех увлекавшими, а теперь сомнительными закономерностями; от увлечения историей остался интерес к историческому анекдоту. Бродский нередко обращался к древнему Риму, а позднее к древнему Китаю — история тут ни при чем. В начале шестидесятых годов Иосиф Бродский предвидел кризис и распад идеологических систем — его стихи приобрели жгучую актуальность в середине и конце восьмидесятых годов, когда все идеологии исчезли, "как сон, как утренний туман".

Подобные мотивы были когда-то у акмеистов — Гумилева, Анны Ахматовой, Мандельштама, Зенкевича; может быть, они потому и вызывали особенно ожесточенные нападки советских критиков, готовых принять даже символизм: ведь он опирался на некую идеологию — пусть враждебную, а все же систему. Это казалось ближе к марксизму-ленинизму, чем акмеистическое отвержение всяких систем, обладающих внутренней логикой.

Такова одна из причин органической близости творчества молодого Бродского к поэзии Анны Ахматовой. Стихотворение, посвященное ей еще в 1962 году, обнаруживало с особой силой связь мгновенного с вечным, классического с вызывающе современным, напевного с разговорным:

...Я не видел, не увижу ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревьям,
по отечеству без памятника Вам.

В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но там Вы не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.

Вы промолвите тогда: "О, мой Господь!
Этот воздух загустевший только плоть
дум, оставивших признание свое,
а не новое творение Твое!"

Когда старый Гюго услышал стихи Бодлера, он произнес: "Это новый трепет!" В ритмах, метафорах, звуках Бродского был новый трепет, верный признак подлинного поэта — лучше не скажешь. Это услышала и Ахматова. Когда Бродский был в тюрьме — в декабре 1963 года — она сделала ему надпись на одном из своих сборников "Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными". Ахматова была скорее сурова, оценивая стихи своих современников; такая оценка с ее стороны кажется невероятной.

Невероятно и то, что строку из посвященного ей стихотворения Бродского — "Вы напишете о нас наискосок" — она поставила эпиграфом к стихотворению "Последняя роза" (1962). Мало кого она удостоивала такой чести — в лирике последних лет она брала эпиграфы только у Горация, Пушкина, Инн. Анненского, Блока, Цветаевой, Бодлера. Да и стихотворение ее полно глубокого смысла, связанного с эпиграфом:

Господи! ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

(Той же теме — судьбе молодых поэтов начала шестидесятых годов — теме, подсказанной строкой Бродского, посвящено четверостишие того же 1962 года:

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

Увы, этой надежде не суждено было сбыться: безмятежное чело так скоро отуманилось горечью, мукой, отчаянием! На нем появилось "золотое клеймо неудачи", проклятия.)

Так — в ахматовском эпиграфе — впервые появилось на страницах большой печати имя: "Иосиф Бродский" — в январской книжке "Нового мира" 1963 года, как бы поставленное Ахматовой в один ряд с именами поэтов, ее избранников. А несколько месяцев спустя оно появилось снова, на этот раз в газете "Вечерний Ленинград".

Статья была грозной. Не слишком грамотная и недостоверная (например, авторы цитировали стихи, написанные вовсе не Бродским), она явно исходила из кругов, близких Большому дому (то есть КГБ), и содержала обвинения не только, так сказать, бытовые, но и политические: как уже говорилось, за попытку украсть самолет и бежать из Советского Союза рыжеволосого Осю следовало, собственно говоря, немедленно арестовать.

К тому времени я уже был с ним знаком. Бродский ошеломил меня нескончаемым потоком стихотворений и поэм, которые он читал самозабвенно, зажмурясь, — с таким оглушительным картавым пением, что звенели стекла; его манера исполнять казалась необычной, как его стихи: в ней чувствовалась бешеная динамичность, однозвучие редко перебивалось подъемом или понижением голоса, а паузы между строфами отмечались повышенной стремительностью. В этом было нечто символическое: в конце строфы, там, где всякий другой остановился бы, Бродский ускорял темп, и возникало впечатление перебоя, достигнутое средствами, прямо противоположными обычным. И так не только в чтении — во всем.

Иосиф Бродский выступил в устном альманахе "Впервые на русском языке", к тому времени уже несколько лет выходившем под моим руководством в Доме писателя имени Маяковского. Каждый номер альманаха был многолюдным вечером, собиравшим сотни слушателей, среди которых преобладала литературная молодежь — перед этой аудиторией выступали переводчики разных поколений, от маститых до начинающих, с демонстрацией последних, еще не опубликованных работ. Публика была талантливая, жадная до поэтических открытий. Выступление Бродского перед набитым залом не походило ни на какие другие: его словесно-музыкальный фанатизм действовал магнетически; он читал стихи польского поэта Константы Ильдефонса Галчинского:

Заворожённые дрожки,
Заворожённый возница,
Заворожённый конь...

и зал тоже сидел — заморожённый, хотя поначалу невнятные нагромождения картавых "р" могли даже показаться смешными.

Я уже знал, что Бродский — не просто поэт выдающегося дарования, но и человек незаурядной трудоспособности: чтобы переводить Галчинского, он изучил польский, а чтобы читать в подлиннике и переводить Джона Донна и других любимых им поэтов метафизической школы — английский. Его Джон Донн по-русски феноменален; он одновременно старинный и современный, и этим совмещением противоположностей похож на Бродского:

Узри в блохе, что мирно льнет к стене,
В сколь малом ты отказываешь мне.
Кровь поровну пила она из нас:
Твоя с моей в ней смешаны сейчас.
Но этого ведь мы не назовем
Грехом, потерей девственности, злом.
 Блоха, от крови смешанной пьяна,
 Пред вечным сном насытилась сполна;
 Достигла больше нашего она...

Свое отношение к Джону Донну его русский наследник, появившийся на свет через три с половиной столетия после английского поэта, выразил в одном из лучших своих стихотворений, в "Большой элегии Джону Донну" (1963):

...И каждый стих с другим, как близкий брат.
Хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат.
Так беден, густ, так чист, что в них — единство.

Бродский открыл для русской литературы Донна, блестящего поэта английского барокко. Благодаря, прежде всего, Жуковскому, русская поэзия впитала многие интонации английской поэзии, но Джона Донна в России не было — его чуть-чуть переводил в наше время Осип Румер — вот, кажется, и все. Иосиф Бродский многому научился у Джона Донна — в том числе, например, разнообразию и сложности строф. Уже к 1963 году, к моменту появления зубодробительной статьи в "Вечернем Ленинграде", Бродский обогатил русскую словесность множеством неведомых ей и частично "импортированных" из Англии строфических структур — беда в том, что она, русская словесность, об этом узнала много позже, когда Бродского опубликовали; да и то не в России, а в Америке (1965 год).

И вот этого человека, этого фанатика слова и пролагателя новых путей называют паразитом и тунеядцем? Глупее и нелепее придумать было нельзя ничего. Бывают молодые литераторы, которые пишут облегченно, не затрудняя себя приобретением необычных форм, а уж тем более поисками союзников в далеких веках и странах. Но Бродский, в ранней молодости уже ставший мастером ухищренной строфики, был явно самоотверженным тружеником; и в этом смысле у него даже и соперников не было — ни в его поколении, ни даже в старшем. Отвечая на вопросы корреспондента "Монд" (18 декабря 1987 года), Иосиф Бродский скорее преуменьшал, когда сказал своей собеседнице Николь Занд: "Моим первым настоящим чтением были Мандельштам, Хлебников, Заболоцкий. Мне хотелось стать с ними вровень, продолжить там, где они остановились. Потом, когда мне уже было двадцать семь лет, я покончил для себя с русской культурой и стал

смотреть в сторону поляков, чехов, французов — где я не нашел ничего особенного — и мне показалось, что то, чего я ищу, мне даст английская поэзия. В 1964 году для меня стал откровением Роберт Фрост. Трагедии, утверждению совершившегося факта он противопоставил страх, экзистенциальный ужас: с поэзией континента для меня было покончено. Я открыл Донна, случайно открыл, и был потрясен. Потом стал читать вокруг него. Эти поэты (английские метафизические поэты XVII века. — Е. Э.) поддерживают другой контакт с миром, они видят его снаружи, тогда как европеец, прежде всего русский, всегда находится в центре, в качестве жертвы или действующего лица...”

Между тем, обвинение в паразитизме, хотя и было идиотским, влекло за собой опаснейшие последствия; совсем недавно, 4 мая 1961 года, был принят указ Верховного Совета СССР о борьбе с тунеядцами и выселении их из больших городов (“Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезной работы и ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни”), а несколько месяцев назад, 10 марта 1963 года, указ был подтвержден и развит пленумом Верховного суда. Закон был сам по себе необходим: число бездельников, живших воровством или спекуляцией разного рода, стало пугающим. В указе говорилось о множестве жителей больших городов, которые состоят на работе для виду, для отвода глаз, а на самом деле занимаются темными махинациями: “Паразитический образ жизни этих лиц как правило сопровождается пьянством, моральной распущенностью и нарушением правил социалистического общежития, что имеет отрицательное влияние на других членов общества”. Все это было нужно и более, чем правильно. Но — но закон о тунеядцах имел заднюю мысль. Любого

инакомыслящего можно было сперва прогнать с работы, а немного позднее, придравшись к тому, что он нигде не работает, выслать в тундру — как тунеядца.

Бродскому грозила в лучшем случае высылка; политических стихов он не писал, но все, что он делал, писал, думал, — было "иначе". Можно ли это простить?

6. НЕРАВНЫЙ ПОЕДИНОК

В Союзе писателей творчеством "молодых" занималась специальная комиссия, во главе ее стоял Даниил Гранин; я был членом этой комиссии, и в качестве такового обратился к ее председателю. "Мы вмешиваться не будем", — отрезал Гранин. Как не будем? Разве это не наша прямая обязанность? На наших глазах происходит расправа с молодым писателем — кому же его защитить, если не нам? Доводов Гранин не приводил; он отвергал возможность, а, значит, необходимость помочь.

Несколько дней спустя в секретариате Ленинградского Союза писателей выступал с докладом один из авторов статьи "Вечернего Ленинграда" Лернер; почему его допустили? Позднее я узнал, что он показал тогдашнему руководителю ленинградской писательской организации поэту Александру Прокофьеву какое-то удостоверение "из органов" (а бумажка-то была, говорят, фальшивая). Поглядев на удостоверение, с печатью Большого дома, Прокофьев стал в позицию "чего изволите?" и уступил — без попыток сопротивления.

Об Александре Прокофьеве (1900—1971) надо сказать хотя бы коротко — он оказался во главе тех, кто

травил Иосифа Бродского. Прокофьев — из крестьянских поэтов, выступивших в середине двадцатых годов. Участник гражданской войны, самоучка, он появился в литературе как певец родной Ладogi — Прокофьев вырос на берегу этого крупнейшего в северной России озера, в семье рыбака. Его "Песни о Ладогe" завоевали популярность сразу: яркой музыкальностью, неподдельной близостью к народным напевам, к частушкам, раешнику, плясовым и свадебным куплетам. Его стихи, рожденные народной традицией, вернулись в народ — деревенские парни и девки пели их под гармошку:

Развернись, гармоника, по столику,
Я тебя, как песню, подниму.
Выходила тоненькая, тоненькая,
Тоней называлась потому.

В то же время Прокофьев был и певцом недавней Революции и еще более близкой ему гражданской войны. Характерно название одного из стихотворений 1930 года, вполне отвечавшее идеям "пролетарских поэтов" тех лет — "Мы":

Мы — миллионы людей бесстрашных, тех, что
разрушили гнет.
По иноземным морям и странам слава о нас идет.
На тысячу тысяч верст знамена — красный бархат
и шелк.
Огонь и воду и медные трубы каждый из нас
прошел.

Александр Прокофьев остался на всю жизнь деревенским гармонистом и красноармейским запевалой

– утратил он только звонкость, блеск, дерзость народного словаря, лихое озорство гуляки, бабника, весельчака; одним словом, от него ушел особый его талант, придававший ему обаяние, при нем осталась революционная и вульгарно-патриотическая риторика.

Ненависть Александра Прокофьева к Иосифу Бродскому совершенно понятна – могло ли быть иначе? Деревенский парень, рыбак – против городского интеллигента; малограмотный, хотя и одаренный мужик – против рафинированного эстета, выросшего на английских метафизических поэтах; русский, до кончиков ногтей русский балагур – против еврея, да еще к тому же еврея-космополита, бесконечно далекого от деревенских народно-песенных мелодий; наивно-преданный коммунист, своими успехами и карьерой (глава Союза писателей в Ленинграде) обязанный партии – против юного скептика, который, казалось бы, и не замечал никогда этой партии, который не удостоил советскую власть, ее создателей и глашатаев ни единым взглядом, ни единой стихотворной строкой; литератор, по долгу официального положения обязанный воспевать радость советского существования (“Жить стало лучше, жить стало веселее”, – сказал Сталин, а Прокофьев ответил: “Нет дороже Сталина на свете, / Нет сильней любви, чем к нему...”)) – против поэта, который всматривается в черты безнадежно близкой смерти и предчувствует неминуемый распад; писатель, для которого Запад – средоточие всякой дьявольщины, буржуазной гнили и разврата – против юноши, для которого английская поэзия, американская, да и вообще западная культура в целом оказались питательной почвой для его мироощущения и для его эстетики.

Александр Прокофьев ненавидел не столько Иосифа

Бродского, сколько то новое поколение, которое отодвигало в тень его, Прокофьева, вместе с его революционно-пролетарским "Мы" и крестьянско-рыбацкими "Песнями о Ладогe". Прокофьев отстаивал и собственные интересы – крупного чиновника, обладающего властью пускать в литературу угодных ему новых авторов и бойкотировать неугодных; заодно он, разумеется, защищал интересы того социального слоя, который произвел его на свет и вырастил, – слоя, именуемого советским господствующим классом, "номенклатурой". Прокофьев и Бродский противостояли друг другу: если признать, что Иосиф Бродский – поэт нового времени, то Александр Прокофьев принадлежит прошлому. Да, Прокофьев был чиновником, к тому же не слишком грамотным, а все же и поэтом; как поэт, он, вероятно, силу Бродского понимал – если бы не эта сила, он не стал бы поднимать против него свои войска. Раздавить Бродского надо было вначале – потом с ним труднее будет справиться; Прокофьев понимал и это.

Соотношение сил было до смешного очевидным: с одной стороны, могущественный Александр Прокофьев, член обкома партии, ответственный секретарь Ленинградской организации писателей с 1955 года, автор десятков стихотворных сборников и поэм, лауреат Сталинской премии 1946 года и, перед самым делом Бродского, Ленинской премии – 1961 года, о нем написаны книги и статьи. С другой стороны – еврейский мальчик, никогда ничего не напечатавший, кроме разве что трех-четырёх коротких стихотворений (и детских шуточных стихов в журнале "Костёр"), никому не известный (кроме очень узкого круга ленинградской молодежи), нигде не состоявший (даже не член профсоюза); за двадцатитрёхлетнего Бродского и

заступить-то было некому: за него никто не отвечал. Голиаф и Давид. Нападая на Бродского, мобилизуя партийные, журналистские, писательские войска, Александр Прокофьев не сомневался в легкой победе; он был уверен, что раздавит противника каблуком.

Вернемся к рассказу. Итак, 13 декабря 1963 года, ровно через две недели после появления в "Вечернем Ленинграде" статьи "Окололитературный трутень", один из авторов статьи, самый энергичный из них, Лернер, явился в Союз писателей и, по согласованию с Прокофьевым, выступил перед членами секретариата с докладом об Иосифе Бродском. Секретари Союза были подготовлены статьей в газете и, зная советские нравы, догадывались, что за статьей есть "нечто": несказанное, подразумеваемое и, несомненно, злое. Им было, во всяком случае, ясно, что ни с того, ни с сего газета не стала бы печатать такой грозный материал, и что статья, скорее всего, инспирирована "органами", сотрудниками КГБ. Лернер всячески пытался внушить перепуганным секретарям, что он сам тоже не случайный прохожий, хотя и не имеет права сказать им о себе прямо и открыто, что под его скромным гражданским пиджаком скрываются погоны не менее, чем полковника. Он дал понять своим слушателям, что этот мальчишка Иосиф Бродский — вредный элемент, что вокруг него собираются наркоманы, алкоголики, стилиаги, хиппи, фарцовщики, что он общается с американцами-туристами и, наверное, спекулирует валютой и наркотиками, что он настроен антисоветски и многократно обнаружил это в разговорах (подслушанных) и письмах (перехваченных), что он активный сионист, что он... что он... Все это

были плоды злого воображения Лернера, который сводил с Бродским какие-то личные счета.

Замечу в скобках, что Лернер — фигура характерная в своем роде: до 1954 года он был капитаном войск МВД, позднее стал дружинником и с повязкой "член народной дружины" патрулировал район Европейской гостиницы; мошенник и авантюрист, шантажом вымогавший большие суммы у фарцовщиков, он без всякого сомнения и после своей официальной отставки был связан с Большим домом, но едва ли открыто: документ, которым он размахивал, был скорее всего поддельным. Таких прохвостов органы не слишком ценят: они используют их услуги, даже позволяют проявить инициативу, но потом выбрасывают вон. Так было и с Лернером. Государственная Безопасность его руками и его языком организовала "общественное негодование" вокруг тунеядца Бродского, суд над ним, прессу, все необходимые в данном случае интриги, а потом отделалась от него.

Гораздо позднее, десять лет спустя, в мае 1973 года, Лернера арестовали и судили — именно как мошенника крупного масштаба (а еще надо было как клеветника), и он был приговорен к шести годам лагерей; но это — позднее. Тогда, в декабре 1963 года, Лернер оказался победителем: секретариат Союза писателей вполне единодушно вынес решение предать Иосифа Бродского суду как тунеядца. В составе секретариата были не малограмотные чиновники, не безответственные, выжившие из ума пенсионеры, а писатели: поэты Александр Прокофьев и Николай Браун, прозаики Петр Капица и Даниил Гранин, критики, драматурги... И вот писатели приняли беспрецедентно постыдное решение: по требованию какого-то проходимца, за спиной которого маячила тень "ор-

ганов”, предать молодого поэта суду. Для меня поведение писателей, секретарей Союза, было симптомом не только зловещим, но и куда более страшным, нежели самоуправство ”органов”, произвол дружинников, преступная глупость обкома.

Бродского арестовали. ”Была очень холодная ночь... Я шел по улице, меня окружили трое. Они спросили, как моя фамилия, и я как идиот ответил, что я ”тот самый”. Они предложили мне пройти кое-куда с ними, им надо поговорить. Я отказался — я собирался зайти к приятелю. Началась потасовка... Они подогнули машину и скрутили мне руки за спину...”

Мы узнали, что Бродский в тюрьме ”Кресты” и пытались поднять на его защиту общественные силы, пытались добраться до высокопоставленных чиновников: в Союзе писателей, в прокуратуре, в министерствах. Но уже было поздно: Бродский сидел за решеткой; или, пожалуй, — рано: а вдруг суд его оправдает? Возможно ли, чтобы советский народный суд, не имея весомых улик, вынес обвинительный приговор? Раз человека арестовали, значит ”что-то есть”. Этот привычный довод — ”что-то, наверно, есть, если...” — позволял многим в течение десятилетий сохранять иллюзию чистой совести при полном и успокоительном бездействии.

Некоторые благожелатели — прежде всего поэтесса Наталия Грудинина, отличающаяся неукротимым общественным темпераментом и чувством высокой ответственности — метались в поисках выхода, в попытках мобилизовать писателей, адвокатов, журналистов. Мало кто внимал ее призывам: несмотря на атмосферу ”оттепели”, на недавнее опубликование Солженицына, на антисталинские статьи и страшные разоблачения прошлого во всей советской печати, интеллигенция

продолжала бояться. Да и не было еще никаких примеров общественной активности. Делу Бродского было суждено стать ее началом.

В один из таких дней, когда положение казалось безнадежным, я написал в Москву давнему другу, Фриде Вигдоровой, подробно излагая ей всю историю травли и взывая к ее активности. Впрочем, в ее активности можно было не сомневаться — она очертя голову бросалась во все дела, где была попорана справедливость и где можно было надеяться ее восстановить. У Ф. Вигдоровой были сильные союзники и многочисленные связи: долгие годы она сотрудничала в "Литературной газете", "Комсомольской Правде" и "Правде", где публиковала очерки и статьи по проблемам нравственного воспитания. Ее помощь была неоценимой. Она не заставила просить себя дважды. С того дня, как она узнала обстоятельства дела Бродского, это дело стало содержанием ее жизни; точнее — ее последних полутора лет.

7. ОТСТУПЛЕНИЕ О ФРИДЕ ВИГДОРОВОЙ

О ней написано много, но опубликовано мало. Фрида Вигдорова умерла от рака в августе 1965 года — в расцвете энергии и творческих сил; ей было чуть больше пятидесяти лет. Сразу же после ее смерти очень близкий к ней человек, Лидия Чуковская, стала писать книгу о ней — рукопись, озаглавленная "Памяти Фриды", свыше двух десятилетий лежит без движения; между тем, это — в высшей степени замечательный мемуарный очерк. В этом нет ничего удивительного: до недавнего прошлого имя Лидии Чуковской было строго запрещено советской цензурой, вышло оно из-под

запрета только осенью 1987 года, после официальной реабилитации Бориса Пастернака. Другая мемуарная работа о Ф. Вигдоровой принадлежит Раисе Орловой (Жопелевой); она датирована годами 1966–1968 – и тут тоже прошло 20 лет. Есть и другие рукописи, не ставшие книгами. Существенно и то, и другое: во-первых, стремление друзей Ф. Вигдоровой написать о ней все, что надо сохранить для потомства, и, во-вторых, невозможность (до сих пор – теперь многое изменилось) напечатать эти воспоминания в Советской России.

Почему именно о Фриде Вигдоровой писалось так много воспоминаний? Факт удивительный. Она была скромной учительницей, преподававшей в обыкновенной школе и написавшей об этом свою первую книгу: "Мой класс. Записки учительницы" (1949). Книгу о молоденькой учительнице, впервые входящей в класс, и о том, как она мало-помалу научается преподавать и воспитывать. В конце книги Марина Николаевна – от ее имени ведется рассказ – вспоминает одну из сказок Горького; отец и сын, рыбаки, попали в беду, буря вот-вот опрокинет крохотную лодку, и отец говорит сыну о самом главном, чему его научила жизнь: "Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего. Думай, что хорошего больше в нем, так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них!"

Фрида Вигдорова помнила слова старого рыбака и старалась жить, следуя этому правилу. Она стала журналисткой, потом писательницей, автором повестей, ее волновали судьбы окружавших ее людей, а не литературных произведений. Журналистом она была особенным: узнав о чьих-то трудностях или бедствиях, она, конечно, об этом писала, но, написав, в сторону не отходила (как это чаще всего бывает), а доводила

спасение человека до конца: сама, ни на кого не рассчитывая, ни на кого ничего не перекладывая. Она спасла многих, и незаметных, никому не ведомых фабричных девчонок или деревенских старух, и знаменитых (чаще всего — позднее прославившихся) писателей — среди них Варлам Шаламов и Надежда Мандельштам. Фрида Вигдорова писала для "Правды", прекрасно отдавая себе отчет в ужасающей бесчеловечности режима. Но главная ее идея, составлявшая смысл ее существования, может быть сжато выражена так: я должна делать все то добро, на которое способна. Будут ли другие следовать моему примеру? Не знаю, хотя и надеюсь. Учить я никого не собираюсь, каждый решает сам за себя. Конечно, речь идет о малых делах; жизнь страны складывается из малых дел. Да, надо бороться со злом, которое приобрело власть над обществом. Но каждому человеку необходимо понимать свое место в этой борьбе; мое — такое: не участвовать в зле и помогать торжеству справедливости всюду, где я вижу неправду.

Так она и жила, Фрида Вигдорова. Впрочем, на практике она делала больше, чем ей диктовала "теория малых дел", хотя эта нравственная позиция и сама по себе требовала от нее, хрупкой женщины, непосильного напряжения. Обычно в жизни встречается немало выдающихся людей — особенно в политике или литературе — которые обостряют противоречия, разъединяют несогласных, углубляют раскол между воюющими сторонами; к их числу в России последних десятилетий относятся Ленин и Солженицын. Фрида Вигдорова относилась к противоположному лагерю: она соединяла несогласных, искала доброе начало в самых злых и ожесточенных, спланивала единомышленников, побуждая всех к необходимым взаимным уступкам (в пределах

возможного) — она делала это постоянно, потому что всегда за кого-нибудь воевала, а для победы добра над могущественным злом необходимы сильные союзники. Еще не опубликованы ни в СССР, ни на Западе две, пожалуй, лучшие книги Фриды Вигдоровой: "Из блокнота журналиста" и "Из блокнота депутата"; в этих рукописях она предстает зрелым писателем, умеющим с блеском передать оттенки прямой речи самых разнообразных людей — вора в лагере, полуобразованной генеральши, старого рабочего-пенсионера, девушки-подростка. Кажется, это так легко — стоит только записать чужую речь! Нет, хорошо записать так же трудно, как сделать талантливую фотографию, а тем более создать живописный портрет. Потому что и настоящая художественная запись подобна уже не фотографии, а портрету. Фрида Вигдорова была поразительным мастером таких беглых и, в то же время, по-настоящему художественных зарисовок. В рукописи "Из блокнота журналиста" — вот такая уличная сценка:

Иду ночью по Трехпрудному переулку. Позади двое.

ОНА: — Тебе от меня сегодня не уйти, знай, не уйти!

ОН: — Нет, уйду.

ОНА: — Не уйдешь!

ОН, пренебрежительно: — Эх, ты, — кукла...

ОНА: — А ты кто?

Молчание.

ОН: — У тебя своя семья, вот и живи — что тебе от меня надо? Посчитай, сколько детей у тебя.

ОНА: — Ты о моей семье, о моих детях не печалься. Ты меня от семьи три раза уводил. Зачем ты меня увел в августе? Я тебе сказала: не тревожь меня, я забыла,

живу спокойно, уходи. А ты меня увел — зачем?
Скажи — зачем?

Молчание.

ОН: — Все равно, я жить не буду.

ОНА: — Ну, и не живи, умирай, похороним!

ОН: — С т о б о й жить не буду

ОНА: — А я буду.

Другая сценка — другие два характера:

Детский дом. За мной следом ходит мальчик лет одиннадцати. Вдруг спрашивает:

— Правду говорят — вы письменница?

— Да вот, говорят.

— А вы умеете, как Жюль Верн?

— Нет, как Жюль Верн я не умею.

— А почему?

— Не умею так хорошо придумывать, как он.

Помолчав:

— А стихи умеете?

— Нет, не умею.

— Что, нескладно получается?

— Да, знаешь, не очень складно.

Молчит.

— А вы постараетесь, чтоб — как Жюль Верн?

Все они запоминаются — каждого из них можно узнать по голосу: он, она, мальчик, писательница. Забегая вперед, скажу: все эти записи в блокнотах подготовили Фриду Вигдорову к тому произведению, которое оказалось ее журналистическим шедевром: к записи суда над Иосифом Бродским, и, что, может быть, особенно интересно, разговоров публики в перерывах. В "Блокноте журналиста" тоже есть запись разговора публики — весьма любопытная и мастерски

сделанная. Она относится к концу 1961 года – это реакция московских прохожих на XXII съезд партии (17-31 октября 1961), где произошло второе и, казалось, окончательное развенчание Сталина; об этом и говорят на улицах и площадях Москвы:

Дни XXII съезда. На Красной площади толпы народу. Группы по сорок-пятьдесят человек. Но говорят двое-трое. Остальные слушают.

Молодой грузин говорит:

– Он имел заслуги.

– Какие такие заслуги? Какие такие заслуги?

– Он имел заслуги, – подтверждает человек на костылях.

– У него вся морда в крови, – говорит женщина, по виду домохозяйка, и проводит рукой по лицу.

– А кого он сажал? – говорит человек на костылях.

– Никого он не сажал. Вот я, например...

– Не знаю, как вы, а у меня он посадил мать и отца, и оба не вернулись. – Это говорит человек лет сорока с интеллигентным лицом.

– Ну, хорошо, – вступает толстощекая женщина с ярким маникюром. – А зачем надо было на весь свет орать? Почему нельзя было тихо? Вот наш заведующий парикмахерской тоже пришел в зал и прямо при клиентах стал ругаться, зачем одеколону много выходит. Зачем же при всех? Почему нельзя было тихо?

– Да, не нашего ума дело. Был хорош, хорош – и вот тебе.

– А Мао Цзэдун нам этого не простит. Теперь всё.

Рядом стоит милиционер. Молчит. Не вмешивается. Вокруг него бегают маленький человечек в кепочке:

– Почему молчите? Почему не прекратите это безобразие? Почему не вмешаетесь?

А милиционер молчит.

Из подслушанных на улице случайных разговоров Фрида Вигдорова умела построить законченную новеллу. К этой сценке на Красной площади прибавить ничего нельзя — но и отнять нельзя ничего. Сколько выразительности в повторении, которое журналист, даже опытный, но бездарный, непременно убрал бы:

— Какие такие заслуги? Какие такие заслуги?

И как психологически верна реплика "толстощекой женщины с ярким маникюром" — реплика из "театра абсурда" ("Вот наш заведующий парикмахерской тоже..."), точно отражающая путаницу чувств и мыслей, образовавшуюся в головах советских обывателей: "Был хорош, хорош — и вот тебе". Впрочем, отличается достоверной узнаваемостью не только прямая речь персонажей — абсолютно убедительна и речь автора: "Вокруг него (милиционера) бегают маленький человечек в кепочке"... Как хороши эти уменьшительные суффиксы!

У меня сохранилось одно из писем Вигдоровой о начале ее борьбы за Бродского; оно датировано 17-м декабря — четыре дня после решения ленинградского секретариата предать Бродского суду. Здесь упоминаются: В. С. Толстикова — это первый секретарь Ленинградского обкома партии, фактический в ту пору хозяин Ленинграда (позднее — посол в Китае); Виктор Ефимович Ардов — писатель-сатирик, близкий друг А. А. Ахматовой, которая обратилась к нему с просьбой помочь; Алексей Александрович Сурков — поэт, тогдашний секретарь Союза писателей СССР; Давид Яковлевич Дар — ленинградский прозаик, который был активнейшим участником нашей борьбы и тоже, одновременно со мной, написал Ф. Вигдоровой о деле Бродского; вот письмо Ф. Вигдоровой:

”...Нынче мы с Ардовым разговаривали с Шостаковичем. Он – депутат Ленинграда в Верховном Совете. Обращение к нему – естественно. Разговор был очень хороший. Он сказал, что отыщет на сессии Василия Сергеевича Толстикова и поговорит с ним. Василий Сергеевич уже в курсе дела, с ним вчера разговаривал Ардов.

21-го Шостакович будет в Ленинграде. Если до того времени ничего не изменится, отыщите его непременно и скажите, что всё по-прежнему худо. Но я очень хочу надеяться, что нынче произошел какой-то перелом в этом гнусном деле.

Кроме того, мы вчера послали все материалы Суркову, и сегодня он звонил Anne Андреевне и сказал, что будет разговаривать с руководством Вашего Союза. Это ведь тоже невредно, правда?

Я не пишу Дару. Мое письмо Вам одновременно ответ и ему. Если не трудно, передайте Давиду Яковлевичу всё, о чем я пишу Вам...

17 декабря 1963 г.
Москва

Это было началом борьбы – как видим, с первых же дней достаточно энергичной. Ф. Вигдорова действовала неутомимо: ее усилиями оказались вовлечены в ряды защитников три лауреата Ленинской премии – Д. Д. Шостакович, С. Я. Маршак и К. И. Чуковский, поэты, музыканты, ученые. В то время всё это было внове: Самиздата еще не существовало, опыта коллективной борьбы тоже; все это появилось позднее, родившись во время дела Бродского.

Фрида Вигдорова уважительно упоминает ”Василия Сергеевича” – она так пишет, помня, что ее письмо ко

мне непременно подвергнется перлюстрации; ведь кампания за Бродского была направлена против органов КГБ, либо давших согласие на арест И. Бродского, либо даже проявивших инициативу. Конечно, "Василий Сергеевич" ничего в защиту молодого поэта не сделал; Толстиков был страшной фигурой профессионального аппаратчика-сталиниста — он терпеть не мог интеллигенцию и потому в Ленинграде, которым он уже несколько лет управлял и командовал, чувствовал себя скверно: Ленинград был издавна цитаделью наук и искусств, столицей русской интеллигенции. И то, что к Толстикову обращался всемирно знаменитый композитор Шостакович, могло "Василия Сергеевича" только обозлить: пусть композиторы сочиняют симфонии, а не лезут в политику.

А Иосиф Бродский сидел в тюрьме. Шостакович разговаривал с Толстиковым, а Сурков с Прокофьевым; в обкоме, КГБ и народном суде накапливались письма, телеграммы от Маршака, Чуковского, Ахматовой, Вигдоровой, многих других. Уже и Даниил Гранин понял ошибочность своей первоначальной позиции и послал энергичную телеграмму генеральному прокурору СССР, в которой выражал свое возмущение незаконными действиями ленинградских властей.

А Бродский сидел в тюрьме "Кресты", и все шло своим чередом, как того хотел проходимец Лернер.

Незадолго до суда Ф. Вигдорова приехала в Ленинград. Группа писателей собралась на квартире известного романиста Юрия Павловича Германа — обсуждались возможные (или невозможные?) действия. Сам Юрий Герман, человек степенный, склонный к миролюбивым решениям и казавшийся вполне лояльным, — бушевал — это "дело" представлялось ему неле-

пым, гротескным, фантастическим; он звонил в управление милиции, с которой у него были давние связи, рассылал письма, уговаривал бюрократов, и, будучи по натуре оптимистом, верил в торжество добра.

А Бродский сидел в "Крестах" и ждал. Параллельные линии не пересекались.

8. ПЕРВЫЙ СУД

За несколько дней до процесса я отправился к председателю Ленинградского городского суда. Он принял меня, одного из руководителей секции переводчиков и члена комиссии по работе с молодыми писателями, с официально-равнодушной вежливостью. Я пытался разъяснить ему, что человека, который пишет и переводит стихи, нельзя считать тунеядцем лишь по той единственной причине, что он не состоит членом Союза писателей. Председатель суда слушал внимательно, молча кивал головой, а потом дал мне понять, что тунеядство — обвинение скорее формальное, и что против Бродского есть другой материал.

Говорил он загадочно, напуская туман, так что можно было подумать, что Иосиф Бродский — террорист, но, желая его спасти от смертной казни или пожизненного заключения, гуманный ленинградский суд решил обвинить его по сравнительно неопасной для него статье, не предусматривающей слишком сурового наказания. — Да, против Бродского есть другой материал, — многозначительно и зловеще сказал судья.

— Какой? Политикой он не интересовался никогда. Он поэт метафический, его волнуют вопросы бытия,

вопросы жизни и смерти, вечности и бесконечности. На такого человека — какой может быть у вас материал?

Он полистал дело и, вынув какой-то лист, пододвинул его мне. Я увидел не вполне пристойную и очень злую эпиграмму на Александра Прокофьева.

— И много у вас такого материала? — спросил я.

Судья рассердился: — Не понимаю вашего иронического тона.

— Эту эпиграмму я знаю давно. Ее сочинил другой автор, к Бродскому она отношения не имеет. (Это была эпиграмма вполне законопослушного поэта Михаила Дудина, ныне Героя Социалистического Труда, — он один из столпов советского "истеблишмента".)

— У нас другие данные, — строго сказал судья и не выразил охоты продолжать разговор.

Слушание дела было назначено на 18 февраля. Подойдя к зданию районного суда на улице Восстания, мы увидели толпу перед входом, ожидавшую, когда доставят обвиняемого. Мы поднялись наверх, в заплеванной темный коридор, — в это время конвоиры провели мимо нас отощавшего Бродского; он посмотрел в нашу сторону и едва заметно улыбнулся. Через несколько минут нас — Ф. Вигдорову, писателя И. Меттера, меня и родителей преступника — впустили в зал. Молодежь продолжала толпиться и шуметь, — милиционеры загородили лестницу под предлогом, что в зале мало места. Заседание шло под гул голосов, было плохо слышно, толпу время от времени безуспешно пытались унять. Ф. Вигдорова сидела с блокнотом и, начав записывать, сразу навлекла на себя гнев судьи Савельевой, женщины лет сорока, угрюмой и похожей не столько на судью, сколько на дворничиху, озлобленную ночными скандалами пьянчуг. Справа и слева от

нее скучали заседатели, не очень понимавшие, что происходит: они с недоумением посматривали на дверь, за которой шумела молодежь.

Вот первое заседание, в записи Ф. Вигдоровой.

Судья: Чем вы занимаетесь?

Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю...

Судья: Никаких "я полагаю". Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! (Мне). Сейчас же прекратите записывать! А то — выведу из зала. (Бродскому): у вас есть постоянная работа?

Бродский: Я думал, что это постоянная работа.

Судья: Отвечайте точно!

Бродский: Я писал стихи! Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю...

Судья: Нас не интересует "я полагаю". Отвечайте, почему вы не работали?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны.

Бродский: У меня были договоры с издательством.

Судья: У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться? Перечислите: какие, от какого числа, на какую сумму?

Бродский: Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.

Судья: Я спрашиваю вас.

Бродский: В Москве вышли две книги с моими переводами... (перечисляет).

Судья: Ваш трудовой стаж?

Бродский: Примерно...

Судья: Нас не интересует "примерно"!

Бродский: Пять лет.

Судья: Где вы работали?

Бродский: На заводе. В геологических партиях...

Судья: Сколько вы работали на заводе?

Бродский: Год.

Судья: Кем?

Бродский: Фрезеровщиком.

Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (Без вызова.) А кто причислил меня к роду человеческого?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...

Бродский: Я не думал, что это дается образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, это... (растерянно) ...от Бога...

Судья: У вас есть ходатайства к суду?

Бродский: Я хотел бы знать, за что меня арестовали?

Судья: Это вопрос, а не ходатайство.

Бродский: Тогда у меня ходатайства нет.

Судья: Есть вопросы у защиты?

Защитник: Есть. Гражданин Бродский, ваш заработок вы вносите в семью?

Бродский: Да.

Защитник: Ваши родители тоже зарабатывают?

Бродский: Они пенсионеры.

Защитник: Вы живете одной семьей?

Бродский: Да.

Защитник: Следовательно, ваши средства вносились в семейный бюджет?

Судья: Вы не задаете вопросы, а обобщаете. Вы помогаете ему отвечать. Не обобщайте, а спрашивайте.

Защитник: Вы находитесь на учете в психиатрическом диспансере?

Бродский: Да.

Защитник: Проходили ли вы стационарное лечение?

Бродский: Да, с конца декабря 63-го года по 5 января этого года в больнице имени Кащенко в Москве.

Защитник: Не считаете ли вы, что ваша болезнь мешала вам подолгу работать на одном месте?

Бродский: Может быть. Наверно. Впрочем, не знаю. Нет, не знаю.

Защитник: Вы переводили стихи для сборника кубинских поэтов?

Бродский: Да.

Защитник: Вы переводили испанские романсы?

Бродский: Да.

Защитник: Вы были связаны с переводческой секцией Союза писателей?

Бродский: Да.

Защитник: Прошу суд приобщить к делу характеристику бюро секции переводчиков... Список опубликованных стихотворений... Копии договоров, телеграмму: "Просим ускорить подписание договора". (Перечисляет.) И я прошу направить гражданина Бродского на медицинское освидетельствование для заключения о состоянии здоровья и о том, препятствовало ли оно регулярной работе. Кроме того, прошу немедленно освободить гражданина Бродского из-под стражи. Считаю, что он не совершил никаких преступлений и что его содержание под стражей — незаконно. Он имеет постоянное место жительства и в любое время может явиться по вызову суда.

Суд удаляется на совещание. А потом возвращается, и судья зачитывает постановление:

Направить на судебно-психиатрическую экспертизу, перед которой поставить вопрос, страдает ли Бродский каким-нибудь психическим заболеванием и препятствует ли это заболеванию направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда. Учитывая, что из истории болезни видно, что Бродский уклонялся от госпитализации, предложить отделению милиции № 18 доставить его для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Судья: Есть у вас вопросы?

Бродский: У меня просьба — дать мне в камеру бумагу и перо.

Судья: Это вы просите у начальника милиции.

Бродский: Я просил, он отказал. Я прошу бумагу и перо.

Судья (смягчаясь): Хорошо, я передам.

Бродский: Спасибо.

Когда все вышли из зала суда, то в коридорах и на лестницах увидели огромное количество людей, особенно молодежи.

Судья: Сколько народу! Я не думала, что соберется столько народу!

Из толпы: Не каждый день судят поэта!

Судья: А нам всё равно — поэт или не поэт!

По мнению защитницы З. Н. Топоровой, судья Савельева должна была освободить Бродского из-под стражи, чтобы он на другой день сам пошел в указанную психиатрическую больницу на экспертизу, но Савельева оставила его под арестом, так что в больницу он был отправлен под конвоем.

Так прошел первый суд. Пусть читатель не удивляется ходатайству адвоката, — в то время мы ничего еще не знали о специальных психиатрических больницах-тюрьмах (СПБ), в которые заключают инакомыслящих; известно о них стало годом позднее, когда признали сумасшедшим видного военного теоретика и боевого генерала П. Г. Григоренко. Еще в 1963 году защита полагала, что, доказав нездоровие Бродского, она освободит его от "направления в отдаленные местности".

Конвоиры сопроводили Бродского в психиатрическую лечебницу. Там он пробыл недели три, подвергаясь трудным испытаниям; за эти недели он не тронулся в уме, доказав особую устойчивость своей психики. Любители поэзии даже извлекли из этого эпизода его биографии профит — ему мы обязаны возникшей позднее поэмой "Горбунов и Горчаков". Так или иначе, эксперты-медики в те далекие идиллические времена в сумасшедший дом Бродского не засадили (был бы он и посейчас там!), а написали в своем заключении, что он трудоспособен и что к нему можно применять административные меры.

Уже лауреат Нобелевской премии, Бродский, давая интервью корреспонденту журнала "Нувель обсерватор" (18—24 декабря 1987 г.), на вопрос: "Какой момент в Советском Союзе был для вас самым трудным?" ответил:

— Ленинградская тюремно-психиатрическая лечебница — после того, как отложили процесс, но обвинили меня в тунеядстве. Мне делали страшные уколы — вводили успокоительные медикаменты. Будили ночью, заставляли принимать ледяную ванну, потом заворачивали в мокрую простыню и клали около отопления. Жара сушила простыню и сдирала с меня кожу.

После первого судебного заседания общественное движение в защиту Бродского не разрасталось. Во-первых, отправляя Бродского на психиатрическую экспертизу, суд удовлетворил ходатайство адвоката; во-вторых, ждали решения экспертизы: если бы она признала Бродского больным, дело на этом бы и закончилось. Но она сочла его здоровым. Теперь меру наказания должен был определить суд на новом заседании.

9. ВТОРОЙ СУД

Меньше чем через месяц после первого суда состоялся второй — на этот раз в большом зале Клуба строителей на Фонтанке, рядом с прежней вотчиной шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа, то есть Третьим отделением Его Императорского Величества канцелярии; теперь же там — ленинградский Городской суд (любопытная преемственность: поэта судили рядом с тем домом, из которого травили Пушкина, Лермонтова, Некрасова...). Второй суд был долгим, так сказать — полнометражным. Публику составили привезенные специально на грузовиках сезонные рабочие — они улюлюкали, громко аплодировали обвинителям и бросали ядовитые реплики защитникам. Было и несколько писателей — имена их называть не буду. Все та же судья Савельева с издевкой допрашивала подсудимого, пытаюсь установить, что он не зарабатывал себе на жизнь и был паразитом на шее общества (Приложение).

Судья: А что вы сделали полезного для родины?

Бродский: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю, что то, что я пишу, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Голос из публики: Подумаешь! Воображает!

Другой голос: Он поэт. Он должен так думать.

Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский: А почему вы говорите, что стихи "так называемые"?

Судья: Мы называем ваши стихи "так называемые" потому, что иного понятия о них у нас нет.

Это было честно: в самом деле у *них* иного понятия о стихах не было: впрочем, не только иного, но — никакого. Мы сидели в этом зале, окруженные озлобленными сезонниками, и при каждой реплике, нёщейся из публики, передергивались. Как же это легко: представить поэта сумасшедшим или просто паразитом, поедающим народный хлеб! Как легко говорить о стихах — "так называемые", и внушить людям, которые таскают тяжелые кирпичи, мешают бетонный раствор, кроют железом крыши, что человек, сидящий с утра за своим письменным столом и сочиняющий непонятные рифмованные строки, держа в холеной руке карандаш, что он — бездельник и ничтожество! В сущности, работяге свойственно уважать всякий труд, в том числе и труд литератора. Но если начальство его натравливает на человека с пером, твердя: — Тебе тяжело, а ему легко. Тебе кусок хлеба достается потом, а он болтается по ресторанам и сосет коньяк. Ты встаешь чуть свет и давишься в переполненном автобусе, а он дрыхнет до полудня... Так вот, если настойчиво твердить подобные речи, в работяге может в конце концов проснуться инстинкт ненависти к белоручкам, и тогда, в припадке озлобленности, он способен на погром. Откуда ему знать, кто настоящий писатель и заслуживает снисхождения, а кто —

щелкопер, стремящийся к легкой и беззаботной жизни? Весь процесс Бродского был таким натравливанием обманутых рабочих на поэта, которого выдавали за белоручку и распутника. Обвинитель разоблачал Бродского, будто бы тот "использует чужой труд" — речь шла об использовании подстрочных переводов с языков, которые Бродский знал слабо. В этом месте заседания зал зарычал от негодования: как, этот лоботряс и сам работать не умеет, и еще других эксплуатирует? Судья настаивала на том, что Бродский вообще не хотел работать, а только баловался стихами. Бродский с недоумением твердил, что писать стихи — это тоже работа, а не баловство, не развлечение, не игра. Зал встречал его слова глумливым смехом.

Судья: Лучше, Бродский, объясните суду, почему в перерывах между работами вы не трудились?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Но это не мешало вам трудиться.

Бродский: А я трудился. Я писал стихи.

Судья: Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать?

Бродский: Но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выраженьем лица.

Судья: Это не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценивать ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму?

Бродский: Строительство коммунизма — это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...

Судья: Оставьте высокие фразы! Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую жизнь на будущее.

Бродский: Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам,

я поступлю на постоянную работу и все равно буду писать стихи.

Заседатель Тяглый: У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени?

Бродский: Вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом...

Фантастический диалог! Теперь, когда я перечитываю его спустя много лет, он кажется мне пародией. А тогда — тогда мы сидели в этом громадном зале, и менее всего нам было смешно. Судья и заседатель Тяглый были не персонажами из ярмарочного фарса, а представителями государственной власти: судьба литератора зависела от них. Бродский — не Пушкин, но если бы они судили Пушкина?

10. ОТСТУПЛЕНИЕ В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ О ПУШКИНЕ

Моя жизнь состоит из одного монотонного труда, который разнообразится самим же трудом.

Бальзак

Стоя на вытяжку перед судьей ("Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенкам!.."), Пушкин утверждал бы, что работает, и привел бы свое стихотворение "Труд":

*Миг вожделенный настал, окончен мой труд
многорочный.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?*

*Или, свой подвиг свершив, я стою, как
поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?..*

А председатель Тяглый оборвал бы его:

— Скажите, Пушкин, почему вы столько времени бездельничали?

А судья Савельева спрашивала бы:

— Вот вы все бахвалитесь: "труд", "подвиг" ...А почему в перерывах между работами вы не трудились?

А Пушкин все повторял бы:

— Я трудился. Я писал стихи.

А публика хохотала бы глумливо.

И разгневанный Пушкин, может быть, бросил бы в этот зал Клуба строителей:

*Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры...*

И тогда судья Савельева и председатель Тяглый приговорили бы его к высшей административной мере наказания для тунеядцев — к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности.

11. "ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ"

Выступали свидетели защиты. Писательница Н. И. Грудинина утверждала, что Бродский — талантливый поэт и трудолюбивый переводчик; что "разница между тунеядцем и молодым поэтом в том, что тунеядец не работает и ест, а молодой поэт работает, но не всегда

ест”, что подстрочник является не предосудительным использованием чужого труда, а принятой формой литературной деятельности. Профессор В. Г. Адмони говорил о высоком мастерстве и большой культуре Бродского как поэта-переводчика; ”...чудес не бывает. Сами собой ни мастерство, ни культура не приходят. Для этого нужна постоянная и упорная работа”. Обвинение Бродского в тунеядстве он назвал нелепостью. Выступал свидетелем и я; о Бродском я говорил как о человеке редкой одаренности, ”и — что не менее важно — трудоспособности и усидчивости”; говорил о его обширных познаниях в американской, английской и польской литературах; о том, что труд переводчика стихов ”требует усердия, знаний, таланта, ...самоотверженной любви к поэзии и к самому труду”, и что Бродский всеми этими достоинствами обладает. Я выразил недоумение насчет плаката на воротах: ”Суд над тунеядцем Бродским” — не является ли это нарушением презумпции невиновности?

Впрочем, говорили мы в пустоту — судьи нас не понимали или понимать не хотели. Один из заседателей, отставной военный в гимнастерке без погон, по фамилии Тяглый, вообще не мог взять в толк, о чем идет речь; я говорил о том, какое сильное впечатление произвели на меня в переводах Бродского ”ясность поэтических оборотов, музыкальность, страстность и энергия стиха”, профессор Адмони цитировал Маяковского — ”Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды”, — а заседатель Тяглый вдруг задал вопрос:

— Где Бродский читал свои переводы и на каких иностранных языках он читал?

Мы разговаривали на разных языках. ”Глухой глухого звал на суд судьи глухого”... Савельева,

кажется, лучше Тяглого понимала, о чем мы хлопочем. Но положение ее было не из веселых: ей дали прямой приказ — приговорить Бродского к высшей мере административного наказания. Нет сомнения, что даже в это утро ей звонили — из обкома, из КГБ? Не знаю. Но звонили. А, как известно, "правосудие есть освящение установившихся несправедливостей".

Выступали один за другим свидетели обвинения. Бродского они не видели никогда, стихов его не читали, но возмущались. Например, трубоукладчик Денисов:

"Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. (В каком же смысле трубоукладчик — свидетель? Свидетель чего?) Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеку — нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский?.. Я хочу подсказать мнение, что меня его деятельность, как рабочего, не удовлетворяет".

(Все тот же порочный круг: газета — Денисов на суде — опять газета — негодование общественности — приговор суда.)

Писатель Воеводин оказался не лучше трубоукладчика Денисова. Бродского он тоже не знал, стихов его не читал, цитировал чужие стихи, ссылаясь на дневник подсудимого, который получил неведомо откуда (и судья не разрешила ему ответить на вопрос Бродского, откуда у него оказался дневник), представил суду справку, якобы составленную о Бродском в комиссии по работе с молодыми писателями, а на самом деле

написанную им же самим, Воеводиным, — другие члены комиссии об этой справке ничего не знали.

Адвокат: Справку, которую вы написали о Бродском, разделяет вся комиссия?

Воеводин: С Эткиндо, который придерживается другого мнения, мы справку не согласовывали.

Адвокат: А остальным членам комиссии содержание вашей справки известно?

Воеводин: Нет, она известна не всем членам комиссии.

Не всем. Точнее говоря — никому, кроме Воеводина. Еще точнее — официальная справка, переданная в суд от имени официальной комиссии Союза писателей, оказалась фальшивой.

Потом выступал общественный обвинитель Сорокин — он произносил пустые напыщенные фразы и бранился. "Бродского защищают прощальги, тунядцы, мокрицы и жучки" — возглашал он (а ведь Бродского защищали Шостакович, Ахматова, Маршак, Чуковский...), и угрожающе добавлял: "надо проверить моральный облик тех, кто его защищал..."

Во время речи прокурора произошло два эпизода, и оба с моими соседями. Справа от меня сидел известный ученый-экономист, историк, дипломат Евгений Александрович Гнедин. Когда Сорокин стал оскорблять защитников Бродского, старик Гнедин не выдержал и крикнул: "Кто? Чуковский и Маршак?.." Двое дружинников протиснулись к нему, силой подняли его со стула и, скрутив за спиной руки, вывели из зала. Потом Е. А. Гнедин рассказал, что его затолкали в машину, отвезли на другой конец города и выбросили вон. Но он был привычный — у него было за плечами около двадцати лет каторжных лагерей.

Слева от меня сидела и писала Фрида Вигдорова. Внезапно, уже в конце речи обвинителя, судья крикнула: — Прекратите записывать!

К Вигдоровой направились двое дружинников, видимо, намереваясь отнять у нее блокнот. Я схватил его, заложил во внутренний карман и скрестил на груди руки. Дружинники прочли на моем лице такое бешенство и такую решимость сопротивляться, что, не имея разрешения на устройство драки в зале суда, отошли в сторону.

От защитницы, Зои Николаевны Топоровой, требовалось немалое мужество, и она проявила его. Она показала полнейшую немотивированность обвинений, фальшивый характер воеводинской справки, некомпетентность всех без исключения свидетелей обвинения (которые дают показания на основании каких-то документов, непонятным путем полученных и непроверенных, и высказывают свое мнение, произнося обвинительные речи), а также некомпетентность самих судей (не являющихся специалистами "в вопросах литературного труда"). Адвокат со всею несомненностью показал и доказал, что

— материалы обвинения неосновательны или фальшивы,

— подсудимый не тунеядец.

Речь адвоката убедила всех, — даже, кажется, наиболее непредвзятых и разумных из числа сезонников. Суд удалился. Нам же представлялось, что обвинительный приговор невозможен, — это было бы слишком скандально.

Пока судьи совещались, публика толпилась в коридорах. Фрида Вигдорова записала — и это одна из самых блестящих страниц ее репортажа:

12. РАЗГОВОРЫ В ЗАЛЕ

– Писатели! Вывести бы их всех!

– Интеллигенты! Навязались на нашу шею!

– А интеллигенция что? Не работает? Она тоже работает.

– А ты – что? Не видел, как она работает? Чужим трудом пользуется!

– Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить!

– А вы знаете, что такое подстрочник? Вы знаете, как поэт работает с подстрочником?

– Подумаешь – делов!

– Я Бродского знаю! Он хороший парень и хороший поэт.

– Антисоветчик он. Слышали, что обвинитель говорил?

– А что защитник говорил – слышали?

– Защитник за деньги говорил, а обвинитель бесплатно. Значит, он прав.

– Конечно, защитникам лишь бы денег побольше получить. Им всё равно что говорить, лишь бы денежки в карман.

– Ерунду вы говорите.

– Ругаетесь? Вот сейчас дружинника позову! Слышали, какие цитаты приводили?

– Он писал это давно.

– Ну и что, что давно?

– А я учитель. Если бы я не верил в воспитание, какой бы я был учитель?

– Таких учителей, как вы, нам не надо!

– Вот посылаем своих детей – а чему они их научат?

– Но ведь Бродскому не дали даже оправдаться!

— Хватит! Наслушались вашего Бродского!

— А вот вы, вы, которая записывали! Зачем вы записывали?

— Я журналистка. Я пишу о воспитании, хочу и об этом написать.

— А что об этом писать? Всё ясно. Все вы заодно. Вот отнять бы у вас записи!

— Попробуйте.

— А что тогда будет?

— А вы попробуйте отнять. Тогда увидите.

— Ага, угрожаете! Эй, дружинник! Вот тут угрожают!

— Он же дружинник, а не полицейский, чтобы хватать за каждое слово.

— Эй, дружинник! Тут вас называют полицейскими! Выселить бы вас всех из Ленинграда — узнали бы, почем фунт лиха, тунеядцы!

— Товарищи, о чем вы говорите! Оправдают его! Слышали ведь, что сказала защитница.

Но его не оправдали. Приговор был готов заранее — не знаю, что судьи так долго делали там в совещательной комнате. Они повторили все опровергнутые доводы обвинения и постановили: на основании указа от 4 мая 1961 года — сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда.

13. ОТСТУПЛЕНИЕ О ВЗБЕСИВШЕЙСЯ ФОРМЕ

"Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уже совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это..."

Н. В. Гоголь. Нос.

Мы расходились, подавленные произволом грубой силы, ощущением бесправия, цинизмом судебного спектакля. Только что мы были участниками фантастического действия, в котором принималась в расчет одна только форма. Да, судебное заседание развивалось по всем правилам: на возвышении, на стульях с высокими спинками, где вырезан в дереве герб Советского Союза, восседали народный судья, законно избранный — тайным голосованием, и двое народных заседателей, законно назначенных общественными организациями. Всё шло, как полагается: допрос подсудимого, выступления свидетелей защиты и свидетелей обвинения, речь общественного обвинителя и речь адвоката, совещание судей в специальной совещательной комнате, торжественное оглашение приговора — "Именем Российской Федеративной Социалистической Республики...", даже аплодисменты публики после приговора и увод обвиняемого конвоирами.

Всё шло по плану, но немного наспех...

Содержания как бы не существовало, во всяком случае оно не имело значения. Судья в существе дела ничего не понимала. Заседатели, призванные разобрататься в специфике литературной профессии, никогда

о ней слыхом не слыхали. Свидетели обвинения ни о чем не свидетельствовали, потому что не знали ни обвиняемого, ни его сочинений. Прокурор строил свою речь на поддельной справке, чужих стихах и неизвестно откуда добытых дневниках и письмах. Судьи, конечно, совещались, но и это было пустой формой, поскольку приговор был продиктован заранее и здесь, в зале суда, только оглашался. Установленную форму можно наполнить любым и, в сущности, каким угодно содержанием — никто на это внимания не обратит. Привычка к авторитету государственной формы настолько велика, что она уже сама по себе становится содержанием.

В свое время Михаил Кольцов написал фельетон о том, как некий провинциальный партийный вождь целый день кричал демонстрантам, проходившим мимо трибуны, один и тот же революционный лозунг:

— Смерть врагам капитала! Ура!

И тысячные толпы, проходя мимо трибуны, с энтузиазмом подхватывали: Уррра! Никто и внимания не обратил на содержание лозунга: "Смерть врагам капитала". Гипноз формы неотразим: трибуна, общее "ура", знакомые слова "смерть", "враги", "капитал".

Не на этом ли *законе опустошенной формы* строятся многие романы, стихотворения, пьесы, кинофильмы? Всё есть — завязка и развязка, положительные и отрицательные персонажи, размер, рифмы, всё — кроме смысла.

Сколько я видел книг, состоящих из переплета, завернутого в блестящую суперобложку, и страниц, покрытых типографскими знаками! Сколько памятников, изображающих некую величаво-демократическую фигуру в шинели до пят! Сколько газет, представляющих

собой большие листы бумаги с броскими заголовками и подделкой под информацию! Сколько я слышал докладов, состоящих из высокой трибуны, микрофонов, монотонного голоса и недоступных для восприятия, бессмысленных многократным повторением готовых фраз...

Мираж.

14. ОТ 1958-го к 1964-му ГОДУ

Организаторы статьи в газете и суда были уверены в том, что все, ими задуманное, пройдет легко и гладко. Опыт был многолетний. Сколько процессов прошло на нашей памяти, не вызвав ни малейшей реакции того, что называется "общественностью"! Иногда нам самим начинало казаться, что уже и не существует никакого общества.

Достаточно вспомнить *дело Бориса Пастернака*. Вехи этого дела такие: появление романа "Доктор Живаго" в Италии (ноябрь 1957); Нобелевская премия (октябрь 1958); решение об исключении Пастернака из Союза писателей (27 октября); отказ Пастернака от Нобелевской премии (29 октября); проработка Пастернака на общем собрании московских писателей и решение этого собрания — "Просить Советское правительство о лишении Пастернака советского гражданства" (31 октября); публикация в "Литературной газете" целой страницы писем читателей, осуждающих Пастернака как предателя (1 ноября); письмо Пастернака в "Правду" от 5 ноября, объясняющее отказ от Нобелевской премии — "/я/ убедился, что это присуждение — шаг политический, теперь приведший к чудовищным последствиям" ("Правда", 6 ноября).

Свистопляска вокруг Пастернака продолжалась долго; за все это время никто не выступил с протестом против нелепой, идиотской травли. На общемосковском собрании писателей 31 октября выступило 15 поэтов, прозаиков, драматургов, критиков, да еще записавшихся и не успевших выступить было 13 человек. Все присутствующие голосовали за резолюцию (очень немногие предпочли уйти, чтобы не голосовать – в их числе критик и переводчик Владимир Россельс). Не было сопротивления: писательская общественность покорилась, смолчала. Домой к Пастернаку приходили близкие друзья, соседи по даче, молодые поэты, но шумного (и даже тихого) движения в его защиту не возникло. Все боялись.

Помню, как в Ленинград приезжал Сергей Михалков, один из руководителей Союза писателей, и, грозно осматривая собравшихся писателей, которым он сообщал о деле Пастернака, многозначительно сказал: "Сколько здесь среди вас Пастернаков?" – подразумевая: "предателей".

А газеты публиковали десятки, сотни читательских писем, осуждавших, даже проклинавших Пастернака. Некий инженер А. Дубинский заявил: "Место его за негодностью – на мусорной свалке". Пенсионер В. Симонов: "Озлобленная шавка, он даже не господин Пастернак, а просто так... пустота и мрак". Особенно страшны письма писателей. Николай Рыленков писал: "Он превратился в клеветника, и народ с презрением отворачивается от него". Галина Николаева: "...пулю загнать в затылок предателю... За такое предательство рука не дрогнула бы".

Гораздо позже, в 1973 году, Лидия Корнеевна Чуковская вспоминала о тех днях с горечью: "Речи писателей, статьи и письма в газетах и мой собствен-

ный грех: отсутствие мое там, в Союзе — когда его исключали — моя немота” (статья ”Гнев народа”). Все молчали. Топтали, оплеывали, изгоняли из Союза писателей и из Советского Союза не какого-нибудь неизвестного мальчишку, а знаменитого поэта, к тому времени уже почти полвека работавшего в литературе, автора революционных поэм (”Девятьсот пятый год” и ”Лейтенант Шмидт”), даже панегирика Ленину (”Высокая болезнь”). Значит, заступиться можно было, аргументы для защиты валялись под ногами. Все молчали. Почему? Здесь не место исследовать этот трудный вопрос. Скажем только: доминировал *страх*, и, несмотря на недавний XX съезд партии, общественность для протестов еще не созрела.

Прошло пять с небольшим лет. Дело Иосифа Бродского. Теперь топчут и оплеывают не писателя с пятидесятилетним стажем, а неведомого публике юношу. Все же некоторое сходство в обоих делах заметить можно — это то самое, что Лидия Чуковская саркастически назвала ”Гнев народа”. Выступают честные пролетарии и выражают свое неподдельное негодование.

Старший машинист экскаватора из Сталинграда Ф. Васильев: ”Это не писатель, а белогвардеец... Нет, я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше” (”Литературная газета”, 1 ноября 1958). Статья называется ”Лягушка в болоте”.

Начальник Дома Обороны, свидетель обвинения Смирнов: ”Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить”.

Трубоукладчик УНР-20 Денисов: "Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати... Я после выступления газеты возмущен работой Бродского... Я хочу подсказать мнение, что меня его трудовая деятельность, как рабочего, не удовлетворяет".

Авторы писем в "Литературную газету" не знакомы с Пастернаком и произведений его не читали; однако они возмущены. Свидетели обвинения на суде не знакомы с Бродским и стихов его не читали; однако они возмущены.

Похоже. Впрочем, это прием обычный, банальный, хоть и очень глупый (то же самое было во время погромов Анны Ахматовой, Зощенко, Солженицына, Сахарова).

Дело Пастернака, когда доводов для защиты казалось больше, было встречено молчанием. Дело Бродского вызвало движение протеста. Первое на нашей памяти. Позднее таких взрывов общественного негодования было немало: дело Синявского—Даниэля, дело Солженицына (от "Письма к съезду" до его высылки), дело Сахарова.

Кстати, об А. И. Солженицыне. Вернувшись после второго суда домой, я застал его у нас. Он выслушал мой подробный рассказ о ходе судебного заседания. Я попросил его вмешаться — ведь в ту пору он был в большой силе: к нему благоволил Хрущев; он мог облегчить судьбу Бродского, для этого даже больших усилий от него не требовалось. Солженицын, не задумываясь, отрезал: "Вмешиваться не буду. Ни одному русскому писателю преследования не повредили". Я пытался объяснить ему, что у Бродского хрупкая нервная система, что его могут сломать, что он может не выдержать унижений и дойти до само-

убийства. Солженицын слушал, не перебивая, потом безапелляционно сказал:

”Злее будет”.

К счастью, позицию Солженицына не разделяли другие — множество людей приняли участие в борьбе за справедливость.

* * *

В частности, появились протесты на Западе, — и, что особенно интересно и поучительно, из кругов, преданных советским идеалам. После того как запись суда была опубликована в ”Фигаро-литерэр”, известный французский поэт, давний член компартии Франции Шарль Добжинский (см. о нем статью в Литературной Энциклопедии, т. 2) написал небольшую поэму, адресованную судье Савельевой. Она была опубликована в октябрьском номере журнала ”Аксьон поэтик” за 1964 год (журнал тоже — коммунистический). Вот этот текст:

Шарль Добжинский

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКОМУ СУДЬЕ

(Action poetique, octobre 1964)

В Ленинграде воцарился порядок, товарищ судья,
Вы уничтожили хищного зверя,
Вы изгнали из городских стен тунеядца, паразита,

Врага общества,

Поэта.

В ваших глазах, товарищ судья,
Что такое поэт? Это камень, висящий
Мертвым грузом на шее общества.

Я не знаю Иосифа Бродского, товарищ судья,
Украшая собою скамью подсудтимых,
На что он похож?

Может быть, его волосы рыжи, подобно закату,
А в глазах голубизна Невы, не знающей слез?
Можно ли прочесть в его взгляде
Преступность поэзии?

Может быть, у него безумный хаос в мыслях
и темная тоска в сердце?

Как бывает у тех, кто коротает ночи
в рудниках языка, —

Рудокопы слов, чьи лица черны
От сажи непознанных истин?

Я не защищаю его стихов —

Может быть, они рыжи, как грозовая туча,
Которая не знает, что служит вместилищем молний
(Разве туче доступна идея электрического разряда?)

Может быть, они просто-напросто очень плохие,
Не все ли равно —

Неужели вы взаправду уверены в том, что плохие стихи
Наносят ущерб Государству?

Если вы думаете, что едва родившийся крик
Еще не пробившийся сквозь толщу сердца,

Представляет опасность для идеологии,

Это значит, что вы, товарищ, не верите в народ,
Что вы боитесь молодости

(Столько плохих стихов написано во славу

социализма,

но вы ведь не реагировали на них!)

Я не защищаю Иосифа Бродского,
Может быть, он стихотворец, лишенный таланта,
Но разве кодекс облакает вас правом
Судить о таланте?

Говорят, что он очень одаренный переводчик,
Это большая ценность, товарищ судья, —
Даровитый переводчик стихов,
Сплетающий в другом языке

Ариаднину нить недоступных напевов,
Голосов, без него обреченных на гибель в ночи, —
Известно вам это, товарищ судья, вам это известно?
Я не защищаю того, кого вы сочли дармоедом,
Но мне кажется чудовищным вот что:
В этой вашей стране, где чтят человека,
Где для него пролагают пути, ведущие к счастью,
В этой стране, где поэзия громко обращается к людям, —
Поэта, пусть он сорванец и бродяга
(Таким был Есенин, поэт-хулиган), —
Поэта сажают на скамью подсудимых!

Возможно, что он — бедолага,
Вид у него несчастный, его беды тревожат меня,
В его искренность трудно не верить,
Но вы, доискались ли вы до корней недовольства, —
Почему молодой человек восстает против мира,
Даже если мир справедлив?

Но вы, товарищ судья,
Вы, возмущенный ничтожностью его доходов
(Чем он живет, если он не работает?),
Вы не понимаете — ах, вы неспособны понять —
Что можно пожертвовать хлебом насущным
Ради любви к поэзии.

Вы не понимаете, судья-фарисей:
Можно пренебречь производством материальных благ,

Ради того, чтобы найти позабытую розу,
В целине ощущений и слов
Бесполезную розу, богатую только одним:
 ароматом, несущим погибель.

Странный в социалистическом мире судья,
Который сталкивает хлеб и розы,
Мечту и реальность,
Поэзию и труд.

Конечно, поэзия прокормить не может,
Поэзия бесполезна для того, кто неспособен понять,
Что она суть нашего бытия.

Поэзия — это скандал,

В особенности, когда она не желает
Подчиняться общепринятым нормам,
В особенности, когда она выражает мятеж,
А вы считаете мир, в котором вы хозяин,
Настолько совершенным,
Что всякий мятеж в нем немислим?
Всякое восстание сердца, всякий заговор чувств
Немыслим раз навсегда?

Неужели вы думаете, товарищ судья,
Что вы создали образцовую гармонию
 человека и его среды,

Человека и его совести, —
После двадцати лет сталинизма?

Это вы, товарищ судья, это вы,
Пользуясь острым клинком вашей власти,
Окровавленной плетью фанатизма,
Лаем свирепых догм, готовых искушать любого,
Это вы повинны
В озлоблении и отчуждении людей.
Это вы, товарищ судья, это вы,
Или подобные вам, говорящие те же слова,

Твердящие те же истины, подобные монументам,
С той же ледяной убежденностью,
Это вы укрепили статую тирана
Бетоном глупости
И тупого повиновения.
Это вы — тот, кто лгал, кто покрыл мутью,
— Может быть, и сам того не зная, но это еще
печальней, —

Зерцало правого дела.
Иосифа Бродского я не вижу.
Говорят, что сегодня он на свободе,
Ибо неправда невечна в стране,
Где народ впервые в истории взял в свои руки
Ключи от своей судьбы.
Но глупость — болезнь,
От которой нелегко излечиться,
Социализм еще не придумал птичьего молока,
В то время как спутники летят к планетам.
В Ленинграде судят поэта.

У него несчастный вид; его беды меня угнетают.
Ведь это беда — быть поэтом, начинающим, одиноким
поэтом,
Которого никто не признает тем, кем он бы хотел
быть, —

Тружеником слов, ювелиром мечтаний;
Который не имеет права зарабатывать деньги,
Если мечтанья его не те, что у всех.
(Но, товарищ судья, если вы давите цыпленка
в скорлупе,

Как же вы узнаете, в какой день
Курица снесет золотые яйца?)
Я не защищаю поэта,
Я защищаю поэзию,

Которую вы горько оскорбили, товарищ судья,
В лице этого несчастного юноши,
Который верил в нее всеми силами души
И видел в ней смысл жизни.
Я защищаю поэзию, товарищ судья,
Поэзию, гонимую общей ложью,
Поэзию, которую вы обрекли на то,
 чтобы где-нибудь ее вздернули на виселицу,
Потому что она не говорит на вашем языке —
Специально-административном жаргоне, —
Которую вы приговорили к трудовой повинности,
Потому что она, на ваш взгляд, не нужна,
Ее не учитывают при подведении
 официальных производственных итогов,
Статистика не исчисляет ее в тоннах,
И еще потому, что она скроена не на ваш аршин.
Кому же могла прийти нелепая мысль
Построить здание всей своей жизни
На зыбучих песках слов?

В самом деле, разве надо было, товарищ судья,
Привлекать человека к суду советского трибунала
За то, что его профессия — писанье стихов?
Разве надо было, товарищ судья,
Оскорблять его, обесчестить публично,
Потому что газета назвала его тунеядцем?
(да еще в зале суда читают стихи,
от которых он отрекается...)
Я не знаю его стихов,
Которые вы называете порнографией,
Но вы бы, ничуть не впадая в сомнение,
Товарищ буржуазный судья,
Вынесли приговор Шарлю Бодлеру,
Осудили Верлена и Рембо,

Обличили Лотреамона.

Между вашими суждениями и стихами

Простирается океан крови —

Крови Есенина, смешанной с кровью Маяковского.

Конечно, поэты не все умирают по одной и той же
причине,

Но все они умирают оттого, что слишком любили
Жизнь и поэзию.

Так вот, товарищ судья,

я отвожу ваши обвинения,

Иосиф Бродский не Маяковский,

Но и вы не царь Соломон,

Ваше правосудие носит шоры, а вы —

Странный пережиток палеолита,

Судья для музея восковых фигур.

Социализму необходимо

Столько же (нет, больше!) поэзии, сколько угля,

Столько же любви и правосудия,

Сколько стали и зерновых.

Понимание — это свойство человека,

Оправданье судьи,

Но вы — вы не способны понять.

Я не защищаю обвиняемого

По этому смехотворному процессу

(Разве был предан публичному суду автор

Недавней расистской книжонки?)

Я защищаю поэзию,

Которую вы оскорбили во имя закона,

Считающего (вместе с вами), что поэт — тунеядец;

И во имя поэзии, во имя правосудия,

Без чего социализм был бы мертвой буквой,

Я отвожу вас, товарищ судья.

(Перевод Е. Эткинда)

О том, как разворачивался этот первый открытый протест советской интеллигенции — после долгих десятилетий паралича, как просыпалось общественное мнение, и какую роль в этом процессе сыграла Фрида Вигдорова, рассказывают в своих мемуарных сочинениях некоторые современники. Предоставлю сначала слово Раисе Орловой, автору очерка "Фрида Вигдорова, какой я ее знала" (написан в 1966–1968 годах, опубликован только на Западе — в 1983 году, в книге "Воспоминания о непрощедшем времени", Ardis, США). Нижеследующий текст — по рукописи.

Раиса Орлова

"ПОВОРОТНОЕ ДЕЛО"

Осенью 1963 года Фрида сказала мне: "я вся — в новой книге, и потому твердо: больше никаких чужих дел. Единственное, чем я еще буду заниматься, — пропиской и комнатой для Надежды Яковлевны Мандельштам. Все остальное решительно отброшу". Это было сказано в ноябре 63 года. А 29 ноября в газете "Вечерний Ленинград" был опубликован фельетон "Окололитературный трутень". Так началось дело Иосифа Бродского, которое стало делом жизни Фриды Вигдоровой. И одним из путей к ее смерти и к ее бессмертию.

Впервые о Бродском мы услышали от А. А. Ахматовой. "Как, вы не знаете нашего премьера?" — спросила

она с удивлением и нежностью. К одному из своих стихотворений Ахматова взяла эпиграф из стихов Бродского "Вы напишете о нас наискосок". (Этот эпиграф был снят из сборника "Бег времени" в издании 65 г.)

После фельетона в газете "Вечерний Ленинград" в декабре 63 – янв. 64 гг. Бродский жил в Тарусе и Москве, друзья уговаривали его пока не возвращаться в Ленинград. Но он был влюблен, любовь взяла верх над благоразумием, он вернулся и был немедленно арестован.

В январе наш ленинградский друг Ефим Эткинд (дружба с ним тоже была скреплена Фридой) привел Иосифа Бродского к нам. Это была вторая с ним встреча. В первый раз я была у Рожанских, за перегородкой раздалось гудение. Оно продолжалось долго, будто настраивали какой-то музыкальный инструмент, какую-то трубу. Потом начались стихи.

...У нас дома он тоже читал стихи, мы долго разговаривали, оказалось, что он великолепно знает англо-американскую поэзию. За его внешним обликом, – он, впрочем, прирос к лицу, – обнаружился застенчивый, очень горестный мальчик. Мальчик, который носит в себе несчастье. Мгновенный просвет, потом надевался облик и человек становился для меня – непроницаемым.

Это дело стало Фридиным с первых же дней, сразу после фельетона. Она была тогда в Ленинграде и сделала несколько попыток с самого начала добиться правды. Вместе с Л. К. Чуковской они написали письмо ра-

ботнику ЦК (И. Черноуцану*). Обращались и в другие инстанции. Как было просто приостановить все тогда, до суда, как это было бы хорошо, полезно для советского государства, для его престижа! Как это было бы хорошо для Фриды. Но деятели ленинградского Союза писателей и ленинградского КГБ закусили удила. И все обращения остались без ответа. 18 февраля 1964 года состоялся суд. Фрида, — кажется, впервые в своей жизни, — не добила журналистского мандата ни от "Литгазеты", ни от "Комсомолки", ни от "Известий". И она поехала на суд сама, поехала как частное лицо.

Уже после второго суда она писала редактору "Литгазеты" А. Б. Чаковскому:

"Глубокоуважаемый Александр Борисович, прошу Вас внимательно прочесть мое письмо.

В середине февраля я попросила у "Литгазеты" командировку в Ленинград. Мою просьбу выполнили, но специально предупредили, чтобы в дело молодого ленинградского поэта-переводчика я не вмешивалась. Я спросила, могу ли я именем "Литературной газеты" хотя бы пройти на суд, если он будет закрытым. Мне ответили: нет. Вероятно, мне сразу надо было бы отказаться от командировки, ведь, в сущности, мне было выражено самое оскорбительное недоверие.

К сожалению, я это поняла особенно остро уже на суде, когда судья, в самой грубой форме, запретил мне записывать, а я не могла в ответ предъявить удостоверение газеты, в которой сотрудничаю много

* Игорь Сергеевич Черноуцан в то время занимал ответственную должность в аппарате ЦК КПСС.

лет и которую ни разу не подводила. Разве можно лишать журналиста его естественного права видеть, записывать, добираться до смысла происходящего?

Поэтому командировку я возвращаю неотмеченной и, разумеется, верну в бухгалтерию деньги...”

Перечитываешь сегодня документы по этому делу, многочисленные письма одно толковее другого и уже сама не можешь понять, — как же это могло случиться? Ведь все так ясно, так *однозначно* ясно. Разумному и нормально порядочному человеку этого и не представить себе...

В написанных Фридою письмах и обращениях поражает вот что: и здесь она оставалась учительницей, просветительницей, она никогда не принимала ясное для себя за ясное для других. Она неустанно повторяла аргументы, чтобы убедить. Это не просто прием, здесь проявляется суть ее натуры. Вера в разум, вера в человеческую способность усвоить доводы, понять, измениться. И эта вера в данном случае потерпела крах.

По решению первого суда Бродского отправили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Вечером 18 февраля мы звонили Фриде из Москвы. Она не могла произнести ни слова, рыдала в телефон. О том, что произошло на суде, мы узнали позже. Фридин плач был непривычен, странен, пожалуй, даже страшен.

Разумеется, она и раньше сталкивалась с несправедливостью, — опытный журналист, к тому времени уже почти четверть века проработавший в нашей печати, сколько она навидалась злого, горького, уродливого, нечестного, — не перечислить, не пересчитать. Но раньше она всегда бывала вооружена. При всей своей необыкновенной способности слушать и впитывать чужое

горе, она-то все-таки была по другую сторону горя, она была посторонней, от газеты, она была свидетелем.

Здесь же она была обвиняемой, ее судили вместе с Бродским. Свидетели обвинения говорили на суде: "Я Бродского не знаю, не видал, но раз в газете про него написано — значит правильно". Так ведь это же легко было повторить о каждом из нас. Здесь судья Савельева в союзе с самыми темными силами судила каждого советского интеллигента. Потому запись суда нельзя было читать без ужаса. Но Фрида-то сама сидела в зале. Впервые так увиденный, впервые так осознанный ужас и звучал в ее рыданиях, столь непривычных для нас.

Фрида вернулась из Ленинграда после первого суда, Лева* встретил ее на вокзале и повез к Лидии Корнеевне. Она уже несколько пришла в себя, шел деловой обычный Фридин разговор, — как помочь мальчику? К кому обратиться? Решили послать телеграмму секретарю ленинградского обкома Толстикovu. И эта телеграмма, как и многие другие, осталась без ответа.

В деле Бродского принимали участие многие люди, многие литераторы. Этот, почетный для нашей литературы список возглавляется именами старейшин, — Ахматова, Чуковский, Паустовский, Маршак, Шостакович. А далее, — свидетели защиты, — Н. Грудина, В. Адмони, Е. Эткинд; те, кто писали письма, выступали на собраниях, ходили и звонили по инстан-

* Лев Зиновьевич Копелев (род. 1912) — писатель и ученый-германист, муж Раисы Давыдовны Орловой.

циям — Л. Чуковская, Е. Гнедин, Н. Долинина, Ю. Мо-
риц, С. Бабенышева, С. Наровчатов, Л. Копелев, Д.
Гранин, В. Ардов (он, как и некоторые другие, вел
себя непоследовательно, — то защищал, то ругал Брод-
ского), Л. Зонина, Вяч. Иванов, И. Огородникова, И.
Оттен, Е. Голышева, А. Сурков, Н. Бажан, Е. Евту-
шенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Гамзатов,
Я. Козловский, З. Богуславская... это люди, извест-
ные мне. А было и много других, много молодых лите-
раторов Ленинграда: А. Битов, Р. Грачев, И. Ефимов,
Б. Вахтин.

Но больше всех сделала Фрида Вигдорова, ее не-
устанная настойчивость. Ее запись дала в руки всех
защитников оружие, неопровержимое как документ,
талантливое как произведение искусства. Слово, —
точное, емкое слово еще раз продемонстрировало свою
силу. Слово неподкупной совести.

Да, она была именно общественным деятелем, одним
из первых общественных деятелей нового типа. Она не
просто творила добро в микромире, — в этом она совсем
не исключение. В самые страшные, самые кровавые годы
были добрые люди, помогавшие тем, кто рядом, делив-
шиеся деньгами, хлебом, знаниями, кровом, и в этом,
конечно, начало начал. Россия перестала бы быть собой,
если бы это прекратилось. Но Фрида пошла дальше. То,
что делала она, приобретало значение общественное,
выходило за границы малого мира, — родных, друзей,
знакомых.

Мне недавно довелось присутствовать при споре на
тему: стоит ли писать историю современного общест-
венного движения в России? Есть ли о чем писать?

Страна, знавшая массовые стачки, политические
убийства, демонстрации, знавшая, наконец, великую
революцию и гражданскую войну с целью, — коренным

образом изменить общественный строй, зная движения, от которых зависели судьбы миллионов людей, — так в прошлом. А теперь, — горсть интеллигентов пишет письма и звонит по телефонам, выступает на собраниях с целью, — выволить из несправедливой ссылки одного молодого поэта. На первый взгляд — действительно несопоставимо и пожалуй и незачем заниматься историей тепершних общественных движений в России за отсутствием таковых. Но это только на первый взгляд.

Меняются исторические формы общественного движения. Разумеется, и "камерность" и малочисленность, — вынуждены обстоятельствами, но эта внешняя будничность очень по характеру Фриды Вигдоровой. Мало знаю я людей, столь чуждых внешних эффектов, бенгальских огней всякого рода, как она.

Да и к тому же, а что, если с декабристов, с народников соскоблить столетнюю позолоту, благородную патину, весь хрестоматийный глянец, — ведь и останется горсточка людей... "Первым" или "вторым периодом" в истории русского освободительного движения они стали много-много позже.

К 64 году репутация Вигдоровой — борца за справедливость, Вигдоровой — защитника униженных и оскорбленных была уже столь прочной, что ей передавали письма-крики о помощи даже такие люди как Эренбург и Паустовский. Фрида законно возмущалась: "ну, разве можно сравнивать наши имена, связи, возможности?" Но за дела бралась. Не могла пройти мимо человеческого горя, и, оказывалось, что сравнивать можно.

Впрочем, сама она как бы не доверяла еще своей известности. Куда бы, кому бы она ни звонила по телефону, разговор неизменно начинался так: "Не

знаю, говорит ли что-либо вам моя фамилия...” А фамилия уже говорила многое и многим.

...Дело Бродского не двигалось. Мы выбрались в Тарусу на два дня и встреча наша с Фридой была очень грустной. Прошло всего три года после жуковского веселья, а нас всех словно подменили.

Лева купался в маленькой речушке, а мы с Фридой сидели на берегу. Река была не в реку, лес не в лес, тарусские красоты на этот раз не радовали. ”Думать не хочется, — как много горя нам предстоит. Ведь стареют наши любимые, — Корней Иванович, Анна Андреевна, Константин Георгиевич. Как это умно устроено, что человек не знает, когда он умрет”. Она назвала тех, кому было больше 70 лет. А первой оказалась она сама.

Мы уезжали из Тарусы с тяжелым сердцем.

Осенью 64 года руководители московского отделения Союза писателей начали готовить ”дело” Вигдоровой. Вызывали людей, старались найти обвинителей среди людей с хорошей репутацией, чтобы обвинение звучало убедительнее.

Фрида относилась ко всему этому довольно равнодушно. А когда ничего не состоялось, — была явно разочарована. Я шутливо ей сказала тогда: ”Фридик, теперь окончательно выяснилось, что вы просто тщеславная женщина. Вам захотелось прославиться...”

...До дела Бродского Фрида Вигдорова сравнительно мирно сосуществовала с государством. Она ходила к редактору ”Известий” Аджубею, она ходила к министру охраны общественного порядка и по кабинетам его Министерства, она использовала все свои журналистские связи. Она делала это для того, чтобы кому-то помочь. При этом, разумеется, приходилось и

улыбаться, и применяться и идти на неизбежные житейские компромиссы.

Она была человеком прямым, отчасти и прямолинейным, лишенным и капли цинизма. Лишенным возможности сопрягать разные формы поведения, — одну внешнюю, другую для себя.

Дело Бродского, его ход и исход и в этом смысле стало поворотным. Она изменила отношение ко многим окружающим и к себе самой.

Отсутствие журналистского мандата привело к тому, что она ощутила и слабость и силу. Слабость, происходящую от одиночества и незащищенности. Новую силу общественного деятеля, человека, действующего на свой страх и риск. Ощутила освобождение от догм, от заповедей, от всего, что стесняло ее натуру. Лишенная официального мандата, она полнее ощутила мандат неофициальный.

И тут перед ней встало множество новых нравственных проблем. В значительной степени, — неразрешимых. Ведь это был не молодой, начинающий свой жизненный путь человек. Это была жизнь, связанная, спутанная множеством нерасторжимых обязательств. Любой ее шаг касался, — неизбежно касался и других людей, людей близких, родных.

Она не могла, — да и никогда не захотела бы, — уехать за границу, она не могла вступить в какое-либо "подполье", даже и чисто литературное, не могла писать только в "ящик", она не могла замкнуться в себе, уйти от газет, от общественной деятельности (хотя некоторые признаки такого исхода намечались в последние ее месяцы), и она уже не могла улыбаться Аджубею, не могла ходить ни на какие "советы нечестивых". Покачнулась одна из основ просветительства: она не могла не понять, что правителям не нужны

разумные и добрые советы... Выходом из этого клубка неразрешимых противоречий стала смерть.

Сколько раз за полтора года мы мечтали, представляли себе, как Бродского освободят. Произошло все буднично. В самом начале сентября 1965 г., через месяц после смерти Фриды позвонила мне приятельница Лидии Корнеевны, старый работник прокуратуры, и сказала, что решение об освобождении принято. Мы с Лидией Корнеевной расцеловались и горько помолчали, — Фрида не дожидается. А в Сухуми, куда мы с Левоу уехали отдыхать, получили письмо: дело тянулось еще больше трех недель, решение Верховного суда РСФСР заслали, — нарочно ли, по ошибке ли, — в Астраханскую область (вместо Архангельской) и там тщетно искали тунеядца Бродского. Наконец, Бродский вернулся, "не я должна была открывать ему дверь, не я должна была жарить ему яичницу" — писала нам Лидия Корнеевна.

* * *

Раиса Орлова упоминает о том, что в московском Союзе писателей созрела идея — покарать Фриду Вигдорову за ее запись суда над Бродским и распространение этой записи на Западе — и исключить ее из Союза. Руководство Союза, а точнее, органы КГБ, вдруг поняли, какой удар по их престижу, да и вообще по репутации Советского Союза нанесло знакомство западной интеллигенции с комедией суда. Они, вероятно, даже осознали, что изумление и негодование на Западе в большой степени вызвано писательским талантом Фриды Вигдоровой, — если бы запись не была такой блестящей, мимо этого дела было бы легче пройти. Для сравнения скажу: много раз я

слышал удивление по поводу того, что о концлагерях в СССР неоднократно и даже подробно писалось, а люди по-настоящему обратили на них внимание только после книги А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛаг". Удивляться тут нечего: книга Солженицына потрясла читателей не только фактами, но и пронзительностью художественного слова; бездарное сочинение, как правило, проходит незаметно, вызывая разве что раздражение. Документ, созданный Фридой Вигдоровой, заслуживает специального изучения, как произведение литературного искусства. Чего стоит последняя реплика *дружинников*, проходящих мимо защитника: "Что? Проиграли дело, товарищ адвокат?" Вероятно, дружинники именно так, со злорадной издевкой, и сказали З. Н. Топоровой; но автор записи поставил эту, уже за пределами судебного заседания находящуюся, фразу в заключение — как это сделал бы хороший драматург, которому необходима яркая концовка для пьесы.

Теперь предоставляю слово Л. К. Чуковской, написавшей, как упоминалось выше, целую книгу "Памяти Фриды", до сих пор остающуюся в рукописи. Лидия Чуковская старше Фриды Вигдоровой на семь лет, она была одним из самых близких ее друзей. Фрида Вигдорова относилась к ней с заботливой нежностью, всячески стараясь помочь больной и непрактичной Чуковской; она питала к своему старшему другу абсолютное доверие, высоко ценя ее непримиримую принципиальность и строгий художественный вкус. В своих мемуарах Л. К. Чуковская много пишет о деле Бродского — "деле, которому было отдано Фридой столько сил, и в котором ее друзья, и я в том числе, принимали в течение года ежедневное участие". Так Л. Чуковская в целом определяет роль, которую сыграло это "дело" в ту пору.

1. "ЗОВУ ЖИВЫХ!"

Борьба за Бродского заставляла нас жить будто на качелях: вверх — вниз, снова вверх и снова вниз. Мы постоянно находились между надеждой и отчаянием: то нам объявляли, что Бродский будет свободен в ближайшие дни (и мы имели наивность верить и даже сообщать об этом Бродскому), то в городе становились известны слова, произнесенные главой правительства: "Бродский наказан слишком мягко, ему следовало дать не пять лет ссылки, а десять лет тюрьмы". Для Фриды эти воздушные ямы были особенно тяжелы: она всегда начинала любить тех, за кого боролась, а Бродского, без его просьбы и ведома, попросту усыновила, раз и навсегда приняла к себе в сердце, и я даже знаю миг, когда это усыновление совершилось: на первом суде. Сообщая мне — 22 февраля 1964 года, из Малеевки — о своем обращении к генеральному прокурору СССР, Фрида писала:

"Что-то теперь будет?"

Но что бы там ни было, что бы ни было, а я никогда не забуду, как он стоял в этом деревянном загоне под стражей. И может быть все будет хорошо, и он выйдет на дорогу и станет большим поэтом, а я все равно не забуду, как он смотрел — беспомощно, с изумлением, с насмешкой, с вызовом — все разом.

А скорее всего никем он не успеет стать, его сломают. Поэту нужны нервы толстые, как канаты. Несокрушимое здоровье. А он болен. Ему не совладать с тем, что на него кинулось.

Зачем я пишу вам все это? Мне бы сказать вам что-нибудь хорошее*, а я опять за свое”.

Да, она опять за свое, опять и опять за свое. Боль, испытываемая Бродским, сделалась для Фриды живою, собственной болью, ни днем, ни ночью не покидавшей ее. Бессознательно и постоянно она требовала от каждого из нас — не словами и не слезами, а чем-то более властным, как может требовать поющая в оркестре скрипка, — чтобы и мы, не отвлекаясь и не уставая, испытывали сосредоточенную и неутолимую боль. Оттуда же, из Малеевки, она писала мне, что поехала она туда напрасно, что ей и лыжи не в лыжи, и работа не в работу, и тишина и лес ни к чему, что всюду перед ней этот деревянный загон, этот беспомощный и сильный человек, эта стража... Сейчас я говорю не о сути дела, а о тех мелочах, в которых проявлялось личное отношение Фриды к Иосифу, мне они кажутся более существенными для понимания ее душевного облика, чем даже та звонкая, смелая борьба за него, которую она с таким упорством вела.

Она собирала его стихи, переводы, вчитывалась, вдумывалась в них, раздобыла где-то его портрет. Расспрашивая о нем его друзей, она радовалась благородным чертам в характере своего подзащитного. Кто-то рассказал ей, что Бродского незадолго до ареста вызвали в райком комсомола и попытались ”воспитывать”. ”Кто ваши любимые поэты?” — спросила у него дама-секретарь. ”Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак”, — ответил Иосиф. ”А ведь

* Я в это время лежала больная: у меня было кровоизлияние в сетчатку.

ему легко было ответить: Маяковский, Твардовский, — говорила мне Фрида. — И не придерешься. И дело с концом... А он ответил правду. Почему эти воспитатели не ценят такую редкую черту: правдивость?" Когда совершился второй суд, когда чудовищно несправедливый приговор был приведен в исполнение, и Бродский по этапу выслан в Коношу, — все мы, желая утешить и ободрить его, отправляли туда телеграммы. Фрида, отправив свою, спросила меня, что думаю телеграфировать я. "Пришлите список книг"... — сказала я неуверенно. — "Ведь ему зимовать там"... "Ну, что вы! — огорчилась Фрида. — Получив такую телеграмму, он подумает, что вы с его изгнанием примирились. Что ему теперь остается только книги читать, а нам — только посылать ему книги". Я обещала придумать другую телеграмму. И когда я прочитала Фриде новый текст, что-то вроде: "никогда не перестану опровергать клевету", Фридошка так прыгала вокруг меня, так радовалась и так дивилась этому нехитрому тексту, словно я у нее на глазах создала новый сонет Шекспира. "Мне бы так никогда не придумать, — наивно повторяла она. — Какая вы умница, как я вас люблю. Интересно бы знать, сколько часов идет туда телеграмма? Получил он уже вашу или нет?" Узнав, что у Бродского нету пишущей машинки, она с нарочным послала в Коношу свою, уверив меня, будто у нее есть другая. И только после Фридиной кончины Галя рассказала мне, что никакой другой машинки у Фриды не было, это была единственная, и подарили ее ей девочки, Галя и Саша, ко дню рождения на свой первый заработок...

Видя, как Фрида мается, как страдает от неудачи всех наших попыток, я пробовала утешать ее, в сотый

раз перечисляла все добрые предзнаменования, а потом говорила:

— Фридошка, будет ли Иосиф свободен или нет, вы, своею записью, именно вы и именно этой записью, этим замечательным художественным документом сделали неизмеримо много. Не только для него, для его освобождения. Вы первая из наших писателей докричались до мира, и ваш голос услышали все, кто жив еще. "Зову живых!.." Сами вы рассказываете, как незнакомые люди на улицах пожимают вам руку. Запись, сделанная вами, благодаря художественной силе своей, заставляет каждого пережить этот суд, как оскорбление, лично ему нанесенное, заставляет сжать кулаки и сделаться вашим союзником. Даже "Иван Денисович", даже "Рычаги" не дают больше для понимания действительности, чем ваша запись.

И вот тут-то снова поднимал голову наш постоянный спор.

— А мне этого не надо, — сердито, упрямо, а иногда и со слезами в голосе повторяла Фрида. — Никакого этого значения в литературе или общественной жизни. Мне надо одно: чтобы мальчик был дома. И раз я этого не добилась, я испытываю только неловкость, когда люди невесть за что с благодарностью пожимают мне руку. Этой записью я надеялась спасти его. И не спасла.

Я повторяла ей опять и опять, что если Бродский будет спасен, то именно благодаря ее записи, что кроме четырех-пяти людей в Ленинграде, кинувшихся ему на выручку с самого начала травли, да четырех-пяти в Москве, которые тоже начали действовать сразу после гнусной статьи в газете — все остальные, а их десятки, мобилизованы именно ее записью. Я пыталась объяснить ей, что запись — литературный шедевр, что

она так же отличается от стенограммы, как живопись мастера от плохой фотографии; это портрет каждого свидетеля – отчетливый, незабываемый, резко-очерченный; портрет судьи, общественного обвинителя; и, наконец, больше: это портрет самого неправоудия. Я делала опыты: показывала запись тем, кто сам присутствовал на суде, кому все было известно и без нее. Они читают и видят пережитое по-новому, и плачут и гневаются, как не плакали тогда. Такова власть искусства: воспитательная, познавательная, несокрушимая.

Фрида слушала меня неохотно, хмуро, без интереса. О, конечно, она – учительница, она – журналистка, гораздо лучше меня понимала, что такое воспитание в самом широком, истинно-общественном смысле. Но при этом от каждой своей статьи в газете, от каждой судебной или иной записи она привыкла требовать прежде всего результата совершенно прямого, конкретного: чтоб выпустили человека из тюрьмы; чтоб дали человек комнату; чтоб восстановили человека на работе... Прямого результата запись суда над Бродским, несмотря на все наши усилия, не давала, – а воспитательный смысл? а художественная ценность? – Бог с ними, печально говорила Фрида.

В последние недели Фридиной жизни, или, точнее: в последние недели Фридиногo умирания, когда она уходила от нас, покидала нас, или еще точнее: когда она покидала себя, лежа неподвижно на тахте в своей милой комнате, меня преследовал один и тот же сон... Возвращается Бродский. Я – во сне – набираю номер АД 142-97. И говорю: "Сашенька, Иосиф вернулся, скажи маме... Сашенька, скажи маме..." И во сне думаю, как хорошо, что она успела узнать. Что я успела подать ей весть туда, на тахту, которая из веселой,

мягкой обыкновенной тахты превратилась в два твердые, как камни, непостижимые слова: смертный одр.

Сон этот осуществился наяву, но, к великому нашему горю, не полностью. Бродский был освобожден через полтора месяца после Фридиной смерти. Он пришел ко мне. Мы вместе позвонили в Ленинград Анне Андреевне и его родным. Потом я сняла трубку и набрала номер: АД 142-97.

— Сашенька*, Иосиф вернулся, — сказала я Саше, когда она отозвалась. Мы обе замолчали. Продолжения не было. Из горла ничего не шло на губы, с губ ничего в трубку. Я видела Сашу так же ясно, как если бы это был не телефон, а телевизор. Ресницы, волосы. Я видела пустую тахту. Я подумала: пойти, разве, на могилу. Прошептать эти слова земле: Фридошка, Иосиф вернулся...

В двадцатых числах июля, дней за десять до конца, Фрида в последний раз спросила меня о Бродском. И странно, мне показалось потом, когда я перебирала в памяти мои последние к ней приходы, что этот разговор был тенью нашего старого разномыслия: "Бог с ней, с литературой, был бы цел человек"... Когда я вошла, Фрида лежала спиной ко мне и лицом к стенке, и когда я села в кресло рядом с тахтой — не повернула ко мне головы, не подняла глаз, и поздоровалась со мною только морщинкой: это от усилия улыбнуться морщинка перерезала лоб.

— Ну как наш рыжий мальчик? — спросила Фрида медленно, словно бы по складам, "ры-жий маль-чик?"

Дело стояло тогда на точке совершенно загадочной. Оно находилось у председателя Верховного суда РСФСР

* Саша — дочь Ф. Вигдоровой.

Л. Н. Смирнова, и в течение трех месяцев нам по телефону и лично на вопросы отвечали, что решаться оно будет "через три-четыре дня". На письма же и телеграммы ответа вообще не было. Но все-таки у меня для Фриды была припасена хорошая новость: Евтушенко, сказала я, вернувшись из Италии, представил в ЦК, как водится, записку о своей поездке, и там, излагая содержание своих бесед с представителями итальянской интеллигенции, заявил, что "дело Бродского" наносит престижу нашей страны огромный ущерб, что Бродского необходимо выпустить и, главное, как можно скорее издать книгу его стихов — толще той, которая издана на Западе. Там же он писал, что берется сам составить книгу и приготовить предисловие к ней.

— Книга Бродского! Вот бы хорошо! — сказала я.

Фридошка показала мне рукой, чтобы я с кресла пересела на тот угол тахты, с которой она могла видеть меня, не поворачиваясь. И подняла веки.

— Не до предисловия тут, не до книги, — сказала она легко, быстро, внятно. И потом снова с трудом, по складам: "Вы-пусти-ли бы маль-чи-ка на во-лю. Книга — это по-том".

И закрыла глаза.

Книга — потом. На первом месте — человек.

Мысль мыслей.

Такова одна из глав рукописной книги Л. К. Чуковской. Приведу еще другую, которая в рукописи автора называется "Тринадцатый подвиг Геракла". Л. Чуковская подробно рассказывает о том, скольких людей Ф. Вигдорова спасла, — как она в этом спасении *гибнущих* видела главный, даже единственный смысл своей журналистской и писательской работы.

II. "ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА"

Тринадцатым подвигом Геракла, вершиной Фридиной спасательной деятельности, ее мультанским процессом* было безусловно дело Бродского.

По ее просьбе я познакомилась с хулиганской статьей о поэте в "Вечернем Ленинграде"; по ее просьбе вместе с ней написала письмо в ЦК партии. По ее совету — письмо к Черноуцану, которое она приняла, как предисловие к своей записи.

Это дело войдет не только в биографию поэта, не только во Фридину доблестную биографию; оно войдет в историю общественной жизни нашей страны.

И не потому, что кто-нибудь его раздул, искусственно придал ему несоответствующее значение. Нет. И не потому даже, что в толстых пыльных папках сияют лучезарные имена Ахматовой и Шостаковича, что листы судебного дела украшены именами Чуковского, Маршака, знаменитых иностранцев. Не потому, как думали некоторые, что группа литераторов — Нат. Грудинина, Нат. Долинина, Е. Эткинд, В. Адмони в Ленинграде, Ф. Вигдорова, Е. Гнедин, Р. Орлова, Л. Копелев, я в Москве боролись за освобождение Бродского каждый день, не давая никому остывать, отступать, забывать. Его и без нас не забывали; недаром за него вступились более 52 молодых ленинградских литераторов; и целая группа геологов; и деньги для

* Процесс над группой крестьян-удмуртов, клевветнически обвинявшихся в человеческих жертвоприношениях (1892—1894). В борьбе за удмуртов большую роль сыграл В. Г. Короленко.

него собирала интеллигенция обоих городов; и ездили его навещать в Коношу не только близкие друзья, но и люди, никогда его в глаза не видавшие. Не мы, так называемые "защитники Бродского" своими хлопотами раздули это дело и придали ему такое значение: сама жизнь подняла и развернула над нашими головами, как знамя, требование освободить поэта.

Старики, пережившие царское время, увидели в деле Бродского пакостную отрыжку антисемитизма. Фрида просила меня рассказать обо всем Самуилу Яковлевичу*; когда я пришла к нему, он лежал в постели, укрытый, после очередной процедуры. "Дело Дрейфуса и Бейлиса вместе — вот что такое дело Бродского, — сказал он мне, прочитав статью в "Вечернем Ленинграде" и выслушав мой рассказ о лернеровских подлогах. "Когда я начинал жить — кругом была эта мерзость, и вот теперь, когда я уже старик, опять". Он завернулся в одеяло, сел, спустив с кровати ноги, снял очки и заплакал.

Людям среднего возраста, остро пережившим сталинские времена, дело Бродского напомнило судьбы раздавленных государством поэтов. В его лице мы защищали тех, кого когда-то задушили на наших глазах.

Молодежь, в особенности ленинградская, которая уже твердила наизусть стихи Иосифа Бродского, уже хмелела от его чтения, восприняла неправый суд, как личное оскорбление — молодые ленинградцы говорили о суде над Бродским такими голосами, словно у каждого вырезали из груди живой кусок мяса.

* Поэт С. Маршак (1887—1964), лауреат Ленинской премии за 1963 год.

Не было интеллигентного человека, которому дело это не наступило бы на какую-нибудь из любимых мозолей.

И всех вместе, людей любого возраста, присутствовавших на суде или только прочитавших Фридину запись, приводило в неистовство явное, наглое, демонстративное нарушение закона.

В деле Бродского, как гной в нарыве, собралась вся испорченная вонючая кровь общественного организма: полицейщина, ненависть бюрократов-мещан к интеллигентам (в особенности евреям), исконное неуважение к литературе. Недаром столь типичны, типичны, можно сказать, до махровости, все гонители Бродского: заведующий административным отделом ЦК т. Миронов, объяснявший К. И. Чуковскому, что Бродский хуже Ионисяна*: "тот т о л ь к о разбивал людям головы, а Бродский вкладывает в головы вредные мысли"; первый секретарь Ленинградского обкома т. Толстиков, не удостоивший ответить писателям и ученым ни на одну телеграмму, ни на одно письмо в защиту Бродского, но зато нашедший время и средства сначала поощрить незаконный процесс, а потом полтора года, проявляя неусыпную бдительность, деятельно мешать пересмотру незаконного приговора; опытный мастер подлога и сыска, битый шпик, гепеушник Лернер; повелитель ленинградского Союза писателей, бывший поэт Прокофьев, ненавидящий молодых поэтов за то, что они, не в пример ему, молоды и голосисты, да еще осмеливаются петь не по придворным нотам; писатель-приклученец Воеводин, состряпавший подложную справку, и отличающийся от шпики Лернера разве

* Известный в то время уголовник, убийца.

что беспробудным пьянством; судыха Савельева, во время судебного разбирательства свободно и уверенно щеголявшая своим антисемитизмом, своим невежеством и, главное, сознанием полной своей безнаказанности... Тут каждая фигура из Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Зощенко. Жизнь — великий художник, но и ей редко удается создать явление такой выразительности, такой безупречной законченности, как дело Бродского. Тут не суррогат жизни, а ее концентрат, сгусток; на этом суде столкнулись две силы, извечно противопоставленные друг другу: бюрократия и интеллигенция. О, насколько бюрократы вооруженнее интеллигентов: у них в руках пресса, то есть беспрепятственная возможность лгать, сбивать с толку обездоленных, необразованных, натравливать их на интеллигентов; в их руках — суд, они заранее приготовили приговор; у интеллигенции одно оружие: слово свидетеля, который не желает стать лже-свидетелем, и чью речь никто не услышит за пределами зала — если — если не Фрида. Если не ее школьная тетрадка и мужественное перо.

Главные герои этого спектакля, поставленного жизнью, Савельева — с одной стороны, и Бродский — с другой. Я давно уже думаю, что поэзия, истинная поэзия, сама по себе, по природе своей, даже вне зависимости от так называемого содержания, — есть самое анти-полицейское, анти-фашистское, анти-насильническое вещество, которое когда-либо и где-либо создавалось людьми. Произведение искусства уже само по себе есть торжество свободы. Бюрократия смутно чувствует это; Жданов воображал, что он не любит Ахматову; в действительности он ненавидел тот способ мышления, противоположный его собственному, который воплощен в любой настоящей поэзии, в том

числе в великой поэзии Анны Ахматовой. "Зачем говорить обиняками?" – вот что смутно чувствует всякий бюрократ, пробуя слушать стихи. За поэтическим словом ему чудится что-то, какой-то второй смысл – и недаром. Этот смысл есть утверждение свободы. Поэзию он ненавидит смутно, как во сне; поэтов – совершенно отчетливо: за то, что они тоже власть. Какое же государство допустит, чтобы рядом с его властью существовала другая? Чем мощней, упорядоченней, централизованней государство, тем неистовей ненавидят государственные деятели своих соперников – поэтов. Тут ревность.

Бродскому на этом суде выпала почетная роль: представлять русскую поэзию. Жребий этот был вытянут им более или менее случайно; на его месте мог оказаться любой из талантливых молодых поэтов, которых в эту пору оказалось в России не мало. Но надо отдать справедливость Иосифу Бродскому: вытянув этот соответственный жребий, он, человек с больными нервами, больным сердцем, только что перенесший тюрьму и психиатрическую больницу, провел свою роль на суде безукоризненно, с большим чувством достоинства, без вызова и задора, спокойно, понимая, какой державой он послан. Своими ответами он вызвал глубокое уважение к себе не только со стороны друзей, но и тех, кто раньше относился к нему с равнодушием или даже враждебностью.

Помните этот диалог, мастерски запечатленный во Фридиной записи, диалог между обвинителями и Бродским, бесконечно повторяющийся и на первом и на втором суде, пронизывающий, словно красная нитка, весь процесс?

— Отвечайте, почему вы не работали?

— Я работал. Я писал стихи.

И опять:

— Объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились?

— Я работал. Я писал стихи.

— Но это же не мешало вам трудиться?

— А я трудился. Я писал стихи.

В глазах мещан, бюрократов, газетных писак, — словом, черни, это, конечно, не работа: писать стихи! Это ведь не то, что состоять на государственной службе — как они, например. Добро бы еще он в Союзе состоял, — члены Союза писателей приравнены к служащим, у некоторых и командировки, и машины, как у замов и завов; добро бы еще он умел стишками деньгу выколачивать — а то брюки мятые, сапоги рваные! Какой же он может быть поэт, когда он нигде не числится? И сам т. Прокофьев его терпеть не может? Небось т. Прокофьев хорошо разбирается, кто — кто: с ним сам т. Толстиков любит выпивать и закусывать.

Судья. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский. Никто... А кто причислил меня к роду человеческого?

— А вы учились этому?

— Чему?

— Чтоб быть поэтом? Не пытались кончить ВУЗ, где готовят. Где учат.

— Я не думал... Не думал... Что это дается образованием.

— А чем же, по-вашему?

— Я думаю, что это... (потерянно) от Бога.

Савельева не унималась. Начальство приказало выслать Бродского из города, как тунеядца. Законных

оснований для высылки не было: во-первых, никакими нетрудовыми доходами он не пользовался, и, во-вторых, переводы Бродского появлялись в печати; но Савельева и помимо распоряжений начальства, сама от себя, ненавидела его с полной искренностью: в этом человеке, который имеет наглость нигде не состоять, она чувствовала какую-то силу, какую-то тайную власть: Маршак и Чуковский телеграфируют, Адмони и Эткинд произносят защитные речи, а у дверей суда, и это самое главное, — толпятся девчонки и мальчишки и требуют, чтобы их впустили.

— А что вы сделали полезного для родины?

— Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю в то, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.

— Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

— А почему вы говорите про стихи "так называемые"?

— Мы называем ваши стихи "так называемые" потому, — с гордостью отвечает Савельева, — что иного понятия о них у нас нет.

(Какие же это стихи, если за них денег не платят? Какая же польза родине, если мальчишка не умеет позаботиться о собственной пользе.)

Сорокин. Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?

Бродский. Можно. Находясь в тюрьме, я каждый вечер расписывался в том, что на меня израсходовано 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.

— Но надо же обуваться, одеваться.

— У меня один костюм — старый, но уж какой есть.

Перечитывая эти простые слова, я всегда вспоминаю

солдатскую койку, на которой спала в Комарове Ахматова, дырявое одеяло, которым она укрывалась в своем Фонтанном дворце, поношенные брюки Мандельштама, мешковину на плечах у Цветаевой... Словно все они стояли у него за плечами, когда он отвечал суду... А может быть, они и в самом деле стояли там, осеняя его своими крыльями? Кто знает?

Фридина запись запечатлела еще одну сцену, поставленную жизнью не в зале суда, а в коридоре, в день первого судьбища. Накричав на Бродского, Савельева отправила его на медицинскую экспертизу в психиатрическую лечебницу с тем, чтобы выяснить, как написано было в постановлении, "страдает ли Бродский каким-нибудь психическим заболеванием, и препятствует ли это заболеванию направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда". В самом этом вопросе уже содержался ответ и приговор, вынесенные еще до разбирательства... Победоносную Савельеву поразило, что в коридоре ее встретили встревоженные лица. (В день первого разбирательства у дверей суда собралась толпою молодая интеллигенция Ленинграда; десятки прорвались в коридор.)

— Сколько народу! — громко и вызывающе сказала Савельева. — Я не думала, что соберется столько народу!

— Не каждый день судят поэта! — серьезно ответил ей чей-то голос.

— А нам все равно, поэт или не поэт!!!

Я думаю, Савельева и тут говорила неправду. Ей было совсем не все равно, — ей доставляло удовольствие лишний раз, с разрешения начальства, плюнуть в лицо интеллигенции — отправить поэта, о чьем даровании свидетельствовали на суде видные специалисты, о котором хлопочут Ахматова, Шостакович,

Чуковский, Маршак, — отправить поэта на физическую работу: таскать камни и возить навоз. Савельевой было не все равно: она испытывала от мысли об этой перспективе большое удовольствие, наверное, не меньшее, чем Жданов, пытавшийся унизить Ахматову.

Количество интеллигентных лиц у дверей и в коридорах, явное сочувствие подсудимому пришлось не по душе организаторам процесса. В зал суда при продолжении разбирательства были заботливо свезены на специальных автобусах строительные рабочие — те полуграмотные, обездоленные люди, которым легко внушить, будто в их бедности при тяжком труде повинны вот такие молодчики, как Бродский, бездельник и к тому же еврей... Интеллигенты, друзья Бродского, молодые и старые, тоже присутствовали, но в меньшинстве.

Среди этого меньшинства была и Фрида.

Наталья Григорьевна Долинина рассказывала мне впоследствии, что, когда читался приговор, бесчеловечный, незаконный, невежественный, — Фрида стояла рядом с нею. По-видимому, такого приговора она все-таки не ждала и до последней минуты надеялась на освобождение. Она держала Наталью Григорьевну за руку и с каждым словом приговора все сильнее и сильнее стискивала эту дружескую руку.

Фрида только что совершила свой очередной подвиг. Все время, пока длился процесс, не отрываясь и не уставая, в маленьких школьных тетрадках она записывала все, что происходило вокруг: речи, вопросы, ответы, возгласы в зале. Одна из этих тетрадок сохранилась — я с благоговением храню ее у себя и надеюсь когда-нибудь передать в музей... Маленькая тетрадка, такая, какие школьники покупают для "слов", исписанная Фридиным почерком. Почерк на

удивление спокойный, а ведь на этом суде Фрида, быть может, впервые в жизни, была вполне беззащитна. До сих пор, в каких бы она ни оказывалась трудных, ответственных, рискованных командировках, ей служил надежной охраной корреспондентский билет. Командировки же на процесс Бродского ей не дали ни "Литературная газета", ни "Известия". Она явилась в зал суда не как представитель печати, а как случайная посетительница, обыкновенная гражданка, то есть бесправное существо, не охраняемое никем и ничем от любого произвола. В этом же положении были все сидевшие вокруг, но Фрида в отличие от них — сражалась. Она исполняла свой долг — записывала! — под ненавистническим взглядом судьи, под злобными взглядами соседей. Помните вы это место Фридиной записи, где изображено, как толпа пытается заставить ее бросить перо? Незадолго до этой минуты из зала вывели ее друга, Евгения Александровича Гнедина, тоже приехавшего из Москвы ради Бродского и сидевшего рядом с ней. Он осмелился вслух возмутиться тем, что общественный обвинитель с грубой бранью отозвался о защитниках Бродского. Друзинники приказали ему удалиться из зала и препроводили в милицейскую машину, дежурившую у входа. Фрида продолжала писать. Затем был выведен дружинниками еще один Фридин знакомый за то, как сказано было в протоколе милиции, "что он чиханием пытался сорвать судебное разбирательство". Фрида продолжала писать. "Писатели! Всех бы вас из Ленинграда, все вы тут заодно!" — кричали ей соседи. Фрида продолжала писать. Она продолжала писать и после свирепого окрика Савельевой, обращенного к ней. Толпу бесило, что она молча и спокойно продолжает свое дело. Были в толпе и друзья, но чем здесь, в переполненном, взвинченном зале, под

ненавидящими взглядами дружинников, специально подобранных Лернером, они могли бы помочь ей?

— Отнять у нее записи! — закричали из толпы, когда суд удалился на совещание.

Я так и вижу Фриду, маленькую, в толстом сером пальто и детской вязаной шапочке, — вижу ее в ту минуту, когда толпа хочет отнять у нее тетради. Вот она сидит среди зала, крепко сжимая тетради и ручку, — школьные тетради, запись, драгоценный трофей, драгоценное оружие, — слово, силой которого будет спасен человек.

Помните эту сцену?

— А вот вы, вы, которая записывали... Зачем вы это записывали?

— Я журналистка, — миролюбиво отвечает Фрида. — Я пишу о воспитании, хочу и об этом написать.

— А что об этом писать? Все ясно. Вот отнять бы у вас записи!

— Попробуйте! — грозно отвечает Фрида.

— А что тогда будет?

— А вы попробуйте отнять, тогда и увидите.

— Ага, угрожает! Эй, дружинники, вот тут угрожают!

— Он ведь дружинник, а не полицейский, чтобы хватать за каждое слово!

— Эй, дружинник! Тут вас называют полицейскими! В эту минуту раздалось:

— Прощу встать! Суд идет! — и нападение прекратилось.

...Свои записи Фрида приводила в порядок в Ленинграде — в тихой квартире нашего с ней общего друга, Александры Иосифовны Любарской, в Москве — первоначально у себя дома, потом у меня за столом,

вместе со мной. Чем больше я вчитывалась в этот документ, тем выше ценила его мощь. Казалось, нет на свете человека, даже если он бюрократ, — Руденко или Миронов или Смирнов, — который, прочитав эту запись, не понял бы, какая произошла вопиющая несправедливость. Покажи его Аджубею, и он совершит чудеса. Читая и перечитывая запись, Фрида вновь переживала случившееся.

— Как бы я сейчас себя чувствовала, если бы я не поехала, что бы мы теперь были! — повторяла Фрида — с радостью, с горечью, с гордостью.

Восклицание это относилось к крохотной заминке, происшедшей накануне ее вторичной поездки. Узнав от кого-то из друзей, позвонивших в Малеевку, что второй суд назначен на завтра, Фрида срочно выехала в Москву. Ей нездоровилось; заметив это, родные отговаривали ее от поездки, ссылаясь на безнадежность дела, на бессмысленность ее присутствия на суде. Мне позвонила Саша, потом Фрида сама. Фрида говорила со мной каким-то странным, не своим голосом, будто повторяя заученные слова. "Мне нездоровится, — сказала она, — но суть не в этом. Ведь ехать незачем: приговор предрешен, что я буду там делать?" — "Записывать! — сказала я. — Если вам нездоровится — ехать, конечно, не следует; ложитесь и вызывайте врача, но не говорите, что ехать незачем... Есть зачем: кроме вас так никто не запишет. Были бы у меня глаза — записала бы я".

Фрида поехала, записала и теперь радовалась своим листкам так, будто это была не запись судебного процесса, а решение об отмене приговора. Она чуть не гладила их, чуть не целовала.

— А что бы вы сделали, — спросила я, дочитав до того места, где рассказывается, как от нее требуют,

чтобы она перестала записывать, — что бы вы сделали, если бы они в самом деле попробовали эти тетрадки отнять?

Фрида ясно на меня поглядела. Она вернулась из Ленинграда потрясенная, измученная, а сейчас была уже такой, как всегда, спокойной и деятельной: работа над записью, поддержка друзей, планы спасения Бродского вернули ей силы. Снова из ее темных глаз лился яркий свет — недаром одна приятельница говорила о ее глазах: "Фрида подняла на меня свои фары".

— Что бы я сделала? — повторила она мой вопрос. — Если бы они попробовали отнять тетрадки? Не отдала бы! И все. Не знаю, как, но не отдала бы.

— Зубами? — спросила я.

* * *

Наконец, третий отрывок из рукописи Л. К. Чуковской — о смерти Ф. Вигдоровой и о том, какое значение имел для нее процесс Бродского и родившееся в ответ на этот процесс общественное движение.

III. ПОСЛЕ СМЕРТИ ФРИДЫ ВИГДОРОВОЙ

...После Фридиной смерти девочки отдали мне папку с бумагами по делу Бродского. Она была в беспорядке — Фрида до последнего дня требовала, чтобы мы давали ей копии всех заявлений и писем, но сил раскладывать их по порядку у нее уже не было. Я занялась этим. Фрида всегда показывала мне письма Бродского к ней, поэтому я снова прочитала их. В одном Иосиф спрашивал Фриду о том, как она себя чувствует, и между прочим поминал известное изречение индусской

мудрости, гласящее, что причину всякой физической хвори надо искать в нарушении равновесия духа.

Я наново задумалась над этими словами. Что же, в самом деле, случилось с Фридой? Что случилось — в духовном смысле, а не в медицинском? Чем был нарушен — и разрушен — ее трудный, но счастливый, гармонический мир? Ведь характер ее действительно поражал своею гармоничностью, каким-то постоянным, в горе и в радости, устойчивым равновесием духа. Чем же было поколеблено и нарушено это волшебное равновесие?

Дело Бродского?

Да, оно не только сильно потрясло, но и утомило Фриду, как утомляет, высасывает силы, постоянная, безотрывная и при том упорно не идущая на лад работа.

Немногие знают, что Фрида и несколько человек ее друзей, те полтора года, пока длилось это гнусное дело, жили, словно поступив на какую-то нудную службу и ежедневно, с утра, словно "вешали номерок" на некоем невидимом табеле. Это не было занятием между прочим; нет, это стало содержанием нашей ежедневности. Сознание, что уже столько месяцев, а вот уже и второй год! там, в Коноше, мучается человек, ставший для нас всех дорогим, никому не давало покоя. Ни праздников, ни воскресений, ни отпусков. Если и случалось кому-нибудь вырваться из Москвы, то не на отдых: междугородний телефон, авиапочта, нарочные, оказии. А вернешься в Москву, — каждый день нужно звонить или идти туда, куда бумаги уже посланы; каждый день решать, куда писать снова, от чьего имени, как. По телефону об этом не скажешь — надо увидеться. Составить черновик. Ехать — за город, в больницу или на дачу, или в Ленинград за чьей-нибудь подписью. Кто поедет?.. Завоеывая

нового "защитника Бродского", надо показать ему Фридину запись и стихи Иосифа. Значит, перепечатка на машинке. Вычитка... Кто отвезет?.. Добиваясь приема у могущественного лица, надо искать путей к его секретарю или к кому-то, кто знаком со знакомыми секретаря — то есть опять-таки с кем-то встречаться, кому-то дозваниваться... Мобилизовав десятки людей, Фрида тем самым опрокинула на себя сотни телефонных звонков и десятки встреч. Мы двигались в темноте, наощупь; наши официальные корреспонденты и собеседники постоянно давали нам ложные сведения, которые необходимо было проверять. А проверка — это снова знакомые знакомых, снова звонки, снова встречи — у себя дома, в чужом доме или на улице. Одна старушка-пенсионерка, в прошлом — сотрудник прокуратуры, пронзенная Фридиной записью, из симпатии к нам и Бродскому, взяла на себя обязанность сигнализировать нам обо всех кочевьях "дела", со стола на стол, в Верховном суде. С ней кто-нибудь из нас виделся чуть не ежедневно... Вместе с нами действовали ленинградцы — чуть ли не каждый день требовалась оказия в Ленинград, чтобы согласовывать усилия, сообщать друг другу новости. Опять звонки. Опять встречи... Писать или нет Микояну?* Текст? Подписи?.. Да, кроме служения, тут была нуднейшая служба, "согласовывать и увязывать". Кроме патетической публицистики — писанина, канцелярская канитель, утомительная, бесконечная, как дурной сон...

Мешало ли Фриде жить депутатство?

О да, конечно! Это была кладь потяжелее, чем дело Бродского. Много потяжелее. Это были десятки и сотни

* А. И. Микоян был в то время Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

судеб, в которые Фрида обречена была вникать, — настоящее "зрелище бедствий народных" — что ни голос, что ни посетитель, то беда, драма, трагедия, несчастье; а средств помочь никаких или почти никаких. В деле Бродского рядом с Фридой, вместе с Фридой действовали, работали, сочувствовали, огорчались и радовались друзья; в деле Бродского она ни минуты не была одна; в своем депутатстве, лицом к лицу с бедами, Фрида была, наоборот, одинока; хоть и не "одна среди людоедов", но "одна среди бюрократов"...

* * *

Наконец, еще одно свидетельство, взятое из совместных воспоминаний Раисы Орловой и Льва Копелева — "Мы жили в Москве". Написанные в Кёльне в 1987 году, эти воспоминания опубликованы сперва по-немецки, а затем вышли в издательстве Ardis (1988).

Раиса Орлова, Лев Копелев

РОЖДАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

...Прошло восемь лет после XX съезда. Эти годы мы постоянно слышали, читали и сами повторяли как заклятье: то, что было при Сталине, никогда не повторится... Никогда не повторится...

Мы верили потому, что хотели верить. Верили, хотя сталинцы продолжали хозяйничать в государстве, в партийном аппарате, в издательствах, в газетах, в журналах.

Но мы верили, что движение, начатое на XX и XXII съездах, неостановимо, верили, что раскрепощенная мысль и пробужденная совесть не допустят возвращения к сталинщине. И эта вера не была слепой. Ведь из лагерей вернулись миллионы заключенных, издавались некогда запретные книги, по решению Политбюро были опубликованы "Один день Ивана Денисовича" и "Теркин на том свете", возникали все новые прорехи в железном занавесе.

Травля и осуждение Бродского вызывали острую тревогу — неужели это предвестие, неужели могут повториться расправы сталинских времен?

Но тревога вызывала не только страх. Прочитав запись Вигдоровой, многие испытывали потребность вмешаться, что-то предпринять, и не только для защиты молодого поэта, но и в защиту справедливости, законности, которую после 1953 года столько раз громогласно объявляли восстановленной.

Ученые, писатели, журналисты, студенты посылали письма в ЦК, в Прокуратуру, в Верховный Суд, секретарю Ленинградского обкома Толстикovu, председателю Верховного Совета Микояну, в Союз писателей...

Защитники Бродского обращались за подписями главным образом к влиятельным людям. Некоторые отказались — А. Твардовский, А. Солженицын, И. Эренбург, полагая, что это дело не заслуживает таких усилий, такого шума.

А мы считали, что необходимо добиваться отмены несправедливого приговора, необходимо, чтобы освободить молодого поэта и потому, что это дело означает возрождение произвола, когда по указанию КГБ Союз писателей и суд поспешили расправиться с невиновным вопреки фактам, вопреки законам и даже

вопреки здравому смыслу. С этим нельзя примириться, это угроза для всех.

В сентябре 1964 года Фрида Вигдорова написала Константину Федину:

”Никто не вправе перекладывать тяжесть со своих плеч на чужие... Но я перекладываю свою ответственность за человеческую судьбу на Вас потому, что оказалось: я бессильна, у меня нет пути, по которому я могла бы добиться справедливости. Речь идет о судьбе молодого, талантливого поэта, несправедливо и бессмысленно сосланного на пять лет за тунеядство. Я обращалась в газету... в Прокуратуру, в ЦК, все напрасно... Я перекладываю ответственность за судьбу оклеветанного молодого поэта на Вас. Вы – руководитель Союза писателей. Может быть, перед Вами откроются двери, плотно закрытые передо мною”.

Ленинградский ученый И. М. Дьяконов, сын старого друга Федина, писал ему:

”Исход этого дела для нас всех в Ленинграде – пробный камень: действительно ли 1938 год не повторится?”

Мы не знаем, ответил ли Федин на эти письма, но вскоре стало известно, что Правление московской организации Союза писателей готовит дело об исключении Вигдоровой из Союза. Уже подыскивали ораторов из числа ”умеренных либералов”. Хотели так же, как раньше в деле Пастернака, спекулировать на аргументах: ”она препятствует оттепели... она провоцирует репрессии... внушает недоверие к интеллигенции...”

Дело не состоялось – в октябре свергли Хрущева; растерялись и литературные чиновники – куда повернут новые власти?

А в конце ноября обнаружилась смертельная болезнь Фриды, – неоперабельный рак.

Из больницы она писала нам: "Нужно-то ведь совсем другое лекарство. Вот если бы мальчика вернули, я сразу бы и выздоровела".

То, что дело Бродского стало общим делом стольких людей, укрепляло надежду: все-таки рождается, может быть, уже родилось общественное мнение, способное противостоять, противоборствовать возрождению сталинщины.

15. ОБВИНЯЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ

А мы по-прежнему существовали в мире фантасмагорий и манекенов. Суд вынес приговор не только Бродскому, но и нам, свидетелям защиты; он принял "особое определение" относительно каждого из нас, и послал эти определения как в Союз писателей, так и по месту работы: "(Такой-то)... проявил политическую близорукость, отсутствие бдительности, идеологическую безграмотность". Вскоре нас вызвали на заседание Секретариата. Свиноподобный А. Прокофьев, багровея, кричал долго и несуразно. Воспроизвести его крики невозможно. Он захлебывался и хрипел; секретари молча слушали, на их лицах отражались разные чувства, от раболепства до едва скрываемой презрительной иронии. Смысл прокофьевского рыка сводился к тому, что мы, члены Союза писателей, позволили себе пойти в суд, не испросив на то разрешения у руководства; что мы выступали вразрез с решениями,

принятыми секретариатом; что мы политически незрелы и близоруки; что обком партии выражает крайнее недовольство нашим поведением.

Мы пытались возражать. Профессор Адмони толковал об одаренности Бродского, о необходимости беречь таланты и подходить к ним с осторожностью и тактом. Н. И. Грудина вновь рассказала о том, как Бродский занимался в ее семинаре молодых поэтов, и какие надежды она возлагает на него; кроме того, она со свойственной ей неукротимостью обличала Е. Воеводина, совершившего подлог, — он представил суду справку о Бродском, содержащую обвинения моральные и политические, которая якобы исходила от Комиссии по работе с молодыми авторами, но справки этой не видел никто из членов комиссии, кроме ее автора, Е. Воеводина; приговор же опирается именно на этот фальшивый документ — для суда он оказался мнением Союза писателей о Бродском.

Выступая перед секретариатом, я придерживался доводов юридических:

— Да, мы участвовали в судебном заседании, не получив на то разрешения секретариата. Но ведь мы были приглашены судом в качестве свидетелей. Нас можно было бы упрекать и даже привлечь к ответственности за лжесвидетельство; этого нам никто не говорит. Мы показывали то, чему и в самом деле были свидетелями. Мы суду не лгали. Лгал Воеводин, между тем его никто даже и не думал корить за ложь. С каких пор свидетель должен, прежде чем дать показания, испрашивать соизволения начальства? Свидетель показывает под присягой — как известно, он обязуется говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды. Мы присяги не нарушили. Может быть, наша

правда кому-нибудь негодна. Но она — правда, и с этим ничего не поделаешь.

Стали говорить секретари. Помню выступление Петра Капицы, сервильного прозаика, который, видимо, повторял циничные аргументы, слышанные в обкоме:

— Вот вы наивно опровергали обвинение Бродского в тунеядстве; но разве в этом нерв его дела? Он — антисоветчик, в дневниках поносит Маркса и Ленина, и дело о попытке похитить в Самарканде самолет — не анекдот и не шутка. Вы сочувствуете Бродскому. А разве было бы для него лучше, если бы его судили не за паразитизм, а за антисоветские действия и высказывания? Если бы его процесс носил характер открыто политический? По существующей политической статье он оказался бы не на свободе в северной деревне, а в лагере строгого режима, и за такую помощь не сказал бы он вам спасибо! Его пожалели, ему повезло — органы согласились проявить снисхождение — позволили судить его общественным судом и ограничиться административной мерой наказания. Административной, не уголовной. Неужели вы не понимаете разницы? И вот вы являетесь в суд, вы трое писателей, и сбиваете все построения. Вы начинаете доказывать, что Бродского за тунеядство судить нельзя. Это как бы значит, что вы требуете судить его за антисоветчину. И засадить в лагерь. Хорошо хоть Воеводин выручил!..

Вот тут-то и начался шум. Мы твердили наперебой, что народный суд — не место для махинаций; что если о преступнике известно, что он убил, то нельзя, проявляя снисхождение, судить его за карманное воровство; что довод о снисхождении фальшивый — "органы" КГБ к такому гуманизму не склонны, и, если они не стали судить Бродского за антисоветизм,

то, значит, у них не было и нет материала; что одно только и выдвинул обвинитель — какие-то никем не проверенные фразы, вырванные из давнего, почти детского дневника, да из каких-то писем, неизвестно каким путем попавших в руки следствия; что частные письма вообще не материал для уголовного преследования; что мы выступали на том процессе, который реально имел место, а не на том, который существовал в воображении каких-то режиссеров.

Потом произнес короткую речь Д. Гранин. Он осудил фальшивку Воеводина, который подвел прежде всего его, Гранина, председателя комиссии, от имени которой была составлена поддельная справка. Нас, свидетелей защиты, он поддержал, и с нашими доводами согласился.

Но хозяином был Прокофьев. На основании частного определения суда нам всем троим было вынесено порицание — ”за политическую близорукость, притупление бдительности...” и т. д., а в сущности за выступления в суде со свидетельскими показаниями, которые соответствовали правде, а не желаниям обкома и, значит, Прокофьева.

Дня через два собралась комиссия по работе с молодыми. Выступил Воеводин, ее секретарь, выступил и я с рассказом о суде и подложной справке; Гранин в качестве председателя завершил дискуссию, потребовав немедленного исключения Воеводина из комиссии — он обманул общественное доверие, злоупотребил своим положением, ввел в заблуждение суд. Е. Воеводин был единодушно из комиссии изгнан. В тот день ленинградский Союз писателей раскололся на две половины: во главе одной, ретроградной, оказался Александр Прокофьев, во главе другой — Даниил Гранин.

Прокофьев был далеко не одинок. Московское на-

чальство было недовольно уродливым и глупым "делом Бродского", однако считало долгом, поддерживая своих провалившихся чиновников, делать хорошую мину при плохой игре. В декабре 1964 года в Нью-Йорке А. Б. Чаковскому, редактору "Литературной газеты" и секретарю Союза писателей СССР, журналисты задали ядовитый вопрос:

— Думаете ли вы, что то, что случилось с Бродским, органически связано с советской системой? Повредит ли это делу свободы слова в России?

Лукавый Чаковский ответил:

— Бродский — это то, что у нас называется подонок, просто обыкновенный подонок. Его судили открытым судом, с соблюдением всей законной процедуры; он сам защищался; судьи выслушали соответствующие показания литературных экспертов и представителей ленинградской общественности, и пришли к решению — выселить Бродского из города и предоставить ему возможность заниматься честным трудом. Мне кажется попросту смешным, что вы можете испытывать лицемерное негодование по поводу так называемого "дела Бродского", в то время как здесь кидают бомбы в церквах, убивают девушек, и убийцы разгуливают на свободе.

Это историческое интервью А. Б. Чаковского опубликовано в газете "Нью-Йорк Таймс" от 20 декабря 1964 года. В Ленинграде он такого не говорил — остерегся бы, пожалуй. Но в далеком Нью-Йорке лгать не зазорно.

На ближайшем общем перевыборном собрании ленинградские писатели тайным голосованием свалили Прокофьева, избрали на его место Гранина, а нас всех троих — Грудинину, Адмони и Эткинда — избрали

членами правления. Первое же заседание нового секретариата рассматривало в нашем присутствии наш казус; было единогласно постановлено снять с нас несправедливое порицание и Д. Гранин, новый руководитель Союза, торжественно принес нам извинения секретариата.

Всё рассказанное происходило еще в то время, как Бродский был в своей северной деревне, где "Бог живет не по углам". Разумеется, это увеличивало ценность нашей победы. Мы не ожидали торжества столь полного и безоговорочного. Противник внезапно испарился: даже П. Капица, казалось, всегда знал, что правы были мы; даже Н. Браун, в своей суровой и подчеркнуто-честной манере поддерживавший на том секретариате Прокофьева, теперь не сомневался в нашей правоте и вроде бы совсем забыл, как прежде настаивал на общественном порицании.

Прошло несколько месяцев, Иосиф Бродский был возвращен в Ленинград и реабилитирован, а суд прислал в Союз писателей беспрецедентную бумагу, в которой признавал, что частные определения, вынесенные по нашему поводу, были ошибочны.

То был 1964 год.

16. КГБ – ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Ровно десять лет спустя, в 1974 году, в справке КГБ обо мне и моей "антисоветской деятельности" дело Бродского всплыло снова в первоначальном своем виде – словно ничего не произошло, словно и приговор, и частное определение, и общественное порицание со-

хранили свою силу и не были отменены. И секретариат 1974 года ни о чем не вспомнил, ничего не опроверг, ничего даже не спросил.

Таково наше правосудие.

Вот отрывок из этой справки КГБ. В ней сперва говорится о связях Е. Эткинда с Солженицыным, а ниже — переход к делу Бродского:

”О враждебной деятельности Эткинда свидетельствуют и другие факты. В начале апреля сего года по одному из уголовных дел, возбужденных по фактам размножения и распространения документов, содержащих клевету на советское государство и общественный строй, были произведены обыски, в результате которых изъято большое количество указанных документов.

В частности, обыски были у Марамзина и Хейфеца (оба — 1934 года рождения), членов профгруппы при Ленинградском отделении Союза писателей. В ходе этих обысков у Марамзина был изъят подготовленный для распространения так называемый пятитомник стихов Бродского (около двух тысяч страниц), а у Хейфеца предисловие к указанному пятитомнику под названием ”И. Бродский и наше поколение”. В предисловии автор клеветает на внутреннюю и внешнюю политику КПСС, утверждает, что непризнание произведений Бродского в СССР якобы свидетельствует об отсутствии свободы творчества в нашей стране.

В предисловии Хейфец пишет: (следуют цитаты).

Кроме этого предисловия, у Хейфеца изъят также рукописный документ, автором которого является Эткинд. Этот документ представляет собой рецензию на указанное предисловие.

В рецензии Эткинд, положительно отозвавшись о политической направленности предисловия Хейфеца,

рекомендует ему обратить внимание на события в Венгрии 1956 г., которые, по его мнению, свидетельствовали об антидемократической сущности Советского государства и имели поворотное значение для творчества Бродского... Эткинд пишет:

”Подумайте, был XX съезд, была сказана правда, у всех открылись глаза на собственное прошлое, и даже на подоплеку своих же побед, и вдруг... с той стороны петли и бомбы, с этой — танки и автоматы. В дни Венгрии родилось отвращение к империализму, но и понимание безысходности. По контрасту 56 год был грандиозной встряской. Иосиф Бродский прав, ссылаясь на него. А 68? Уже предано забвению все, сказанное на XX и XXII съездах, уже заткнули в яму зловещее дело Кирова, уже давно расправились с простодушным тираном Н. Х.... Ну, на этом фоне танки в Праге никого удивить не могли”.

Будучи допрошен в качестве свидетеля по вышеуказанному уголовному делу, Эткинд подтвердил, что он является автором этой рецензии, понимает, что Хейфец в предисловии высказывает свое несогласие с различными сторонами политики КПСС и Советского правительства. Кроме того, Эткинд заявил, что никогда не скрывал своего отрицательного отношения к вводу войск государств Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Хейфец на допросе показал, что предисловие Эткинду понравилось.

Известно, что Эткинд поддерживал близкие отношения с Бродским, в 1972 году выехавшим из СССР в Израиль и в настоящее время проживающим в США.

Бродский является автором стихов идеологически вредного и ущербного содержания, постоянно общался

с иностранцами, передавал им свои стихи, клеветал на Советское государство и общественный строй. Указанные стихи и высказывания Бродского активно использовались буржуазной пропагандой в ущерб интересам Советского Союза.

Демонстрируя свои отношения с Бродским, Эткинд тем самым стремился показать себя в глазах писателей и начинающих литераторов человеком с "независимыми" взглядами.

Эткинд выступал на суде в защиту Бродского, отстаивая, по его словам, "право таланта на свободу образа жизни".

В марте 1964 года на заседании секретариата Ленинградского отделения Союза писателей поведение Эткинда и других, выразившееся "в необдуманной защите тунеядца Бродского", было единогласно осуждено. Однако своего выступления на суде Эткинд не признал вредным, отрицательно реагировал на критику секретариата.

Таким образом, Эткинд совместно с Хейфецом и Мамрамовым принял участие в подготовке и распространении идеологически вредных стихов Бродского /.../

Эта "Справка" была оглашена первым секретарем Ленинградского отделения Союза писателей Г. К. Холоповым — он и тогда был, и теперь остался главным редактором журнала "Звезда", самого большого и солидного литературного журнала в Ленинграде. Впрочем, Г. К. Холопов вот уже более тридцати лет (с 1957 года) успешно превращает журнал в безличный, скучный и, главное, бездарный (как проза самого Холопова) сборник материалов. Это не так легко, ведь Ленинград — город с несметными культурными традициями, с блестящей интеллигенцией, с живой, очень

талантливой молодежи: Холопов отбивается изо всех сил, душит новое, топчет старое, поощряет серое. Любопытно, что в пору повсеместного "публикаторского бума" вперед вышел другой ленинградский журнал, который и моложе, и беднее "Звезды" — журнал "Нева", печатающий такие замечательные вещи, как роман Вл. Дудинцева "Белые одежды", повесть Лидии Чуковской "Софья Петровна", блокадные воспоминания Лидии Гинзбург... В "Звезде" читатель видит все то же, что он там видел десять, двадцать, тридцать лет назад. А Холопов по-прежнему — хозяин журнала, по-прежнему литературное лицо Ленинграда определяет этот мрачный евнух.

Итак, "Справку" КГБ на заседании секретариата 25 апреля 1974 года огласил Г. К. Холопов. Прослушав странный документ, призванный нагнать ужас на участников заседания, секретари стали произносить речи. Все они опубликованы в моей книге "Записки незаговорщика"; здесь приведу лишь те, которые относятся к делу Бродского... Подумать только, десять лет спустя после процесса, цену которому все, как будто, уже давно поняли!

И. И. Виноградов. Я считаю, что это сознательная групповая деятельность. Эткинд разделял взгляды Хейфеца, даже усиливал антисоветские тенденции.

Подготовка пятитомника Бродского — это немалый вред в идеологической борьбе. Разительный документ — письмо молодым евреям! Получается, что еврей не может жить здесь. Явный призыв бороться здесь, а не там.

Эткинд не может быть членом Союза писателей.

Глеб Александрович Горышин. Я разделяю мысли, высказанные тут. Более всего неприятна рецензия на

предисловие к стихам Бродского. Стихи Бродского не тянут на тот ореол, который им приписывается. Это неутоленное честолюбие Бродского, Хейфеца, в котором принял участие Эткинд.

Не надо смешивать дело Эткинда с солженицынским. Солженицын быстро забывается. Жаль, что Эткинда здесь нет. Нельзя ли все-таки с ним повстречаться? Сказать ему всё в глаза.

Безусловно, он поставил себя вне Союза писателей.

И. И. Виноградов. Не распустить ли профгруппу? Получается как бы второй Союз.

Владимир Николаевич Орлов. Меня в этой истории более всего угнетает моральная сторона, нравственная. Эткинду было сделано чрезвычайно много, чтобы он мог понять. Случай с "Библиотекой поэта" — ведь он взорвал большое культурное дело! Ему была дана возможность — широкая возможность! — подумать о нашей идеологии, более широкая, чем он заслуживал. Странно, что одно Эткинд думает, другое пишет; одно пишет, другое печатает. Эткинд сам поставил себя вне Союза писателей и единственное решение — исключить его из Союза писателей, так как он не советский писатель.

Анатолий Николаевич Чепуров. Документы рисуют Эткинда с очень плохой стороны. И письмо, и статья, и комментарий (?) — все свидетельствует о том, что Эткинд — наш идеологический противник. ... Это сознательная работа, занималась ею группа людей.

Пребывание Эткинда в Союзе писателей неприемлемо.

Борис Никольский. ...Хейфец, Бродский, Бен, Марамзин — это профгруппа, без них ему не с кем было бы общаться, это его питательная среда. Кроме

решения по делу Эткинда, надо иметь рекомендацию по профгруппе. Ее надо распушить.

В деятельности Эткинда меня более всего возмущает, что какая-то часть нашей интеллигенции выдает свое мнение за мнение целого поколения, целого народа. Это сознательно избранный путь идеологической борьбы. Я считаю, что Эткинд должен быть исключен из Союза писателей.

Решение — единогласно.

* * *

Прошли годы. Иосиф Бродский, эмигрант с 1972 года в Соединенных Штатах, опубликовал много стихотворных сборников и прозаических очерков. Он остался русским поэтом, но стал и английским, американским прозаиком. Влияние его на современную американскую литературу признано критиками и поэтами. Место его в текущей русской поэзии несомненно: он — прямой наследник Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой. Нобелевская премия 1987 года увенчала его многолетнюю неутомимую литературную деятельность — несмотря на свою молодость, он пишет уже тридцать лет.

Что же касается меня, то Нобелевская премия Иосифа Бродского толкнула меня на то, чтобы продолжить мои разговоры четвертьвековой давности с советскими бюрократами, которые должны были бы еще один раз убедиться в том, какой у них идиотский оказывается вид — у них, претендовавших на руководство наукой и искусством.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ЧИНОВНИКАМ

Господа,

с того дня, как мы с вами встречались последний раз, прошло ровно 13 лет, а с тех пор, как вели разговоры по "делу Бродского" — 23 года. Почти четверть века. Многие изменилось, кое-кто из вас вышел на пенсию, другие "перестроились" или сделали вид. Все равно я обращаюсь к вам, — а через вашу голову к своим читателям. Пусть они послушают.

13 марта вы судили двадцатитрехлетнего поэта Иосифа Бродского. Это было уже второе судебное заседание; первое имело место 18 февраля, и после него было принято постановление: "Направить на судебно-психиатрическую экспертизу". Решение вполне понятное: с вашей точки зрения заниматься писанием стихов, да еще недоступных вашему пониманию, может только сумасшедший. Молодой поэт пробыл на экспертизе более трех недель, после чего он был снова доставлен в зал суда. Помните ли вы, что вами был избран для заседания Клуб строителей на Фонтанке, и вы привезли толпу сезонников, долженствовавших изображать публику, общественное мнение, *народ*? Вы сами сидели в зале и следили за порядком. Когда писательница Фрида Абрамовна Вигдорова стала записывать, вы бросились к ней и отобрали бы ее блокнот, если бы я — в то время человек изрядной физической силы — не сидел рядом и этот блокнот не спас. Вы боялись всяких записей — хотя я до сих пор не понимаю, чего вы боялись? Ведь все то, что говорила судья Савельева, соответствовало вашим мыслям (если так называются слабые рефлексy, мелькающие в вашем мозгу и порождаемые, как правило, страхом).

Савельева строгим голосом допрашивала подсудимого (вот отрывок из записи, сделанной Ф. А. Вигдоровой):

Судья: Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменили 13 мест работы. Вы работали на заводе год, потом полгода не работали... Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?

Бродский: Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас: я писал стихи.

Судья: Значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы так часто меняли место работы?

Бродский: Я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и о людях.

Судья: А что вы делали полезного для родины?

Бродский: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Голос из публики: Подумаешь. Воображает.

Другой голос: Он поэт, он должен так думать.

Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский: А почему вы говорите про стихи "так называемые"?

Судья: Мы называем ваши стихи "так называемые" потому, что иного понятия о них у нас нет.

Судья Савельева ответила подсудимому безукоризненно точно, причем она не зря воспользовалась местоимением множественного числа "мы". Ведь она понимала, что говорит не только от себя, но и от всех

вас. Все вы, господа чиновники, должны были бы сказать хором: "...иного понятия о стихах у нас нет". Вы это доказали многократно: когда травили Мандельштама, убивали Гумилева и Клюева, Б. Корнилова и П. Васильева, топтали каблуками Ольгу Берггольц, улюлюкали вслед Пастернаку, загоняли в петлю сперва Есенина, а потом Цветаеву, расстреливали Переца Маркиша и Льва Квитко, гноили в лагерях Я. Смелякова и Вл. Нарбута. Все они писали стихи, о которых вы говорили: "так называемые".

Про эту судью мы хоть кое-что знаем: ну, хотя бы то, что ее фамилия — Савельева. А про вас? Мы только можем догадываться, что все вы говорили с подсудимым в том же духе... Иосифу Бродскому повезло: его поколению удалось избежать самого страшного; в 1972 году, через восемь лет после того зловещего суда, он уехал в Америку. 15 лет он живет в Соединенных Штатах, пишет, публикует, преподает, выступает. В 1987 году — Нобелевская премия. Высшая награда, достоящаяся литератору. Всеобщее признание. Всемирная слава.

Что вы скажете теперь? Повторите слова вашей судьи: "так называемые стихи"? Повторите фразу из судебного приговора, гласящую: "Из справки Комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом"...? Скорее всего, вы будете твердить, что Шведская Академия руководствовалась не литературными, а политическими соображениями, что ее решение продиктовано либо дурным вкусом, либо антисоветскими намерениями. Все это несерьезно. Стихи и проза Бродского — достояние миллионов разноязычных читателей и в их высокой оценке все единодушны. Даже послушные вам французские коммунисты, и те в своей газете "Юманите"

сквозь зубы признали, что Бродский, безусловно, — не бездарный поэт (*n'est certes pas un poète négligeable*), тут же не преминув заметить, что от Нобелевского комитета можно было ожидать, что он "поддержит осуществляемый в СССР курс на обновление", между тем, как основное достоинство Бродского в глазах Шведской Академии будто бы в том, что "его существование может напомнить миру, как некоторые советские писатели в сравнительно недавнем прошлом чего-то не поделили с властями своей страны (*des écrivains soviétiques ont eu maille à partir avec les autorités de leur pays en des temps relativement proches*)". Так и сказано: "чего-то не поделили...". Даже вы, господа, в последнее время выражались аккуратнее, хотя то, что пишет "Юманите" (от 23 октября), с вашими суждениями совпадает.

Нет, уважаемые коллеги из "Юманите", нет, господа советские чиновники, выбор Шведской Академии определен куда более высокими соображениями: "широким масштабом времени и пространства, характеризующим литературную продукцию И. Бродского", и "интеллектуальностью и в то же время эмоциональностью его богатого, полного интенсивной жизни творчества".

Вам давно пора понять, что лезть в области, в которых вы ничего не смыслите, сулит вам только срам. Вы разогнали генетиков и кибернетиков, вы нападали на музыкантов, художников и скульпторов, вы душили кинорежиссеров, театральных деятелей, литературоведов, историков... Чем все эти ваши кампании кончились? С триумфом вернулись на подобающее им место и Мейерхольд, и Андрей Тарковский, и Гумилев, и Фальк, и Шостакович, и Гуковский, и Бахтин, и Лентулов, и Пастернак, и

Василий Гроссман, и многие, многие другие. А вы? Вы еще цепляетесь за прошлые и, казалось бы, неприкасаемые авторитеты. За разных "Варламов" — вроде Жданова. Но это уже самые последние ваши судороги. Вероятно, вам горько и страшно смотреть фильм "Покаяние": вы понимаете, что и вас не ждет мирное погребение — и ваши смердящие трупы сыновья швырнут со скалы в пропасть.

Обо всем этом подумал, узнав о присуждении Нобелевской премии Иосифу Бродскому. Мне вспомнились слова одного из вас, общественного обвинителя на суде Сорокина: "Бродского защищают прощелыги, тунядцы, мокрицы и жучки" — а ведь защищали Бродского Ахматова, Шостакович, Маршак, Чуковский, Юрий Герман, Гранин, Ф. Вигдорова, Адмони, многие другие. И еще мне вспомнилось, как в декабре 1964 года в Нью-Йорке другой ваш брат, редактор "Литературной газеты" и секретарь Союза писателей СССР А. Б. Чаковский заявил американским журналистам "Бродский — это то, что у нас называется подонок, просто обыкновенный подонок... Мне кажется попросту смешным, что вы можете испытывать лицемерное негодование по поводу так называемого "дела Бродского", в то время как здесь кидают бомбы в церквях, убивают девушек, и убийцы разгуливают на свободе".

Вот он, ваш голос, господа чиновники! А ведь А. Б. Чаковский до сих пор редактирует "Литературную газету" и, значит, формирует общественное мнение. Будем верить, что это ненадолго, что добрые намерения победят тьму, что наши дети и внуки запомнят не людоедские речи чиновников, а слова Александра Блока, произнесенные почти семьдесят лет назад по вашему адресу:

”Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение”.

Е. Эткинд

ВТОРОЙ СУД НАД И. БРОДСКИМ

Фонтанка, 22, зал Клуба строителей
13 марта 1964 года

(Запись Ф. Вигдоровой)

Заключение экспертизы гласит: В наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка.

Идущих на суд встречает объявление: *Суд над тунеядцем Бродским*. Большой зал Клуба строителей полон народа.

— Встать! Суд идет!

Судья Савельева спрашивает у Бродского, какие у него есть ходатайства к суду. Выясняется, что ни перед первым, ни перед вторым он не был ознакомлен с делом. Судья объявляет перерыв. Бродского уводят для того, чтобы он смог ознакомиться с делом. Через некоторое время его приводят, и он говорит, что стихи на страницах 141, 143, 155, 200, 234 (перечисляет) ему не принадлежат. Кроме того, просит не приобщать к делу дневник, который он вел в 1956 году, то есть тогда, когда ему было 16 лет. Защитница присоединяется к этой просьбе.

Судья: В части так называемых его стихов учтем, а в части его личной тетради, изымать ее нет надобности. Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменяли

13 мест работы. Вы работали на заводе год, потом полгода не работали. Летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали (*перечисляет места работы и следовавшие за этим перерывы*). Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?

Бродский: Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас: я писал стихи.

Судья: Значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?

Бродский: Я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях.

Судья: А что вы делали полезного для родины?

Бродский: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Голос из публики: Подумаешь. Воображает.

Другой голос: Он поэт, он должен так думать.

Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский: А почему вы говорите про стихи "так называемые"?

Судья: Мы называем ваши стихи "так называемые" потому, что много понятия о них у нас нет.

Сорокин: Вы говорите, что у вас сильно развита любознательность. Почему же вы не захотели служить в Советской армии?

Бродский: Я не буду отвечать на такие вопросы.

Судья: Отвечайте.

Бродский: Я был освобожден от военной службы. Не "не захотел", а был освобожден. Это разные вещи.

Меня освобождали дважды. В первый раз потому, что болел отец, во второй раз из-за моей болезни.

Сорокин: Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?

Бродский: Можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.

Сорокин: Но надо же обуваться, одеваться.

Бродский: У меня один костюм — старый, но уж какой есть. И другого мне не надо.

Адвокат: Оценивали ли ваши стихи специалисты?

Бродский: Да. Чуковский и Маршак очень хорошо говорили о моих переводах. Лучше, чем я заслуживаю.

Адвокат: Была ли у вас связь с секцией переводов Союза писателей?

Бродский: Да. Я выступал в альманахе, который называется "Впервые на русском языке", и читал переводы с польского.

Судья (защитнице): Вы должны спрашивать его о полезной работе, а вы спрашиваете о выступлениях.

Адвокат: Его переводы и есть его полезная работа.

Судья: Лучше, Бродский, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Но это не мешало вам трудиться.

Бродский: А я трудился. Я писал стихи.

Судья: Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать?

Бродский: Но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выражением лица.

Судья: Это не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму?

Бродский: Строительство коммунизма это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...

Судья: Оставьте высокие фразы. Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую деятельность на будущее.

Бродский: Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и все равно буду писать стихи.

Заседатель Тяглый: У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени?

Бродский: Вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом.

Судья: Вы сделали для себя выводы из выступления печати?

Бродский: Статья Лернера был лживой. Вот единственный вывод, который я сделал.

Судья: Значит, вы других выводов не сделали?

Бродский: Не сделал. Я не считаю себя человеком, ведущим паразитический образ жизни.

Адвокат: Вы сказали, что статья "Окололитературный трутень", опубликованная в газете "Вечерний Ленинград", неверна. Чем?

Бродский: Там только имя и фамилия верны. Даже возраст неверен. Даже стихи не мои. Там моими друзьями названы люди, которых я едва знаю или не знаю совсем. Как же я могу считать эту статью верной и делать из нее выводы?

Адвокат: Вы считаете свой труд полезным. Смогут ли это подтвердить вызванные мною свидетели?

Судья (адвокату, иронически): Вы только для этого свидетелей и вызвали?

Сорокин (общественный обвинитель, Бродскому):

Как вы могли самостоятельно, не используя чужой труд, сделать перевод с сербского?

Бродский: Вы задаете вопрос невежественно. Договор иногда предполагает подстрочник. Я знаю польский, сербский знаю меньше, но это родственные языки, и с помощью подстрочника я смог сделать свой перевод.

Судья: Свидетельница Грудина.

Грудина: Я руковожу работой начинающих поэтов более 11 лет. В течение семи лет была членом комиссии по работе с молодыми авторами. Сейчас руковожу поэтами-старшеклассниками во дворце пионеров и кружком молодых литераторов завода "Светлана". По просьбе издательства составила и редактировала 4 коллективных сборника молодых поэтов, куда вошло более 200 новых имен. Таким образом практически я знаю работу почти всех молодых поэтов города.

Работа Бродского, как начинающего поэта, известна мне по его стихам 1959 и 1960 годов. Это были еще несовершенные стихи, но с яркими находками и образами. Я не включила их в сборники, однако считала автора способным. До осени 1963 года с Бродским лично не встречалась. После опубликования статьи "Окололитературный трутень" в "Вечернем Ленинграде" я вызвала к себе Бродского для разговора, так как молодежь осаждала меня просьбами вмешаться в дело оклеветанного человека. Бродский на мой вопрос — чем он занимается сейчас? — ответил, что изучает языки и работает над художественными переводами около полутора лет. Я взяла у него рукописи переводов для ознакомления.

Как профессиональный поэт и литературовед по образованию, я утверждаю, что переводы Бродского

сделаны на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим, не часто встречающимся талантом художественного перевода стихов. Он представил мне работу из 368 стихотворных строк, кроме того я прочла 120 строк его переводных стихов, напечатанных в московских изданиях.

По личному опыту художественного перевода я знаю, что такой объем работы требует от автора не менее полугода уплотненного рабочего времени, не считая хлопот по изданию стихов и консультаций специалистов. Время, нужное для таких хлопот, учету, как известно, не поддается. Если расценить даже по самым низким издательским расценкам те переводы, которые я видела собственными глазами, то у Бродского уже наработано 350 рублей новыми деньгами, и вопрос лишь в том, когда будет напечатано полностью все сделанное.

Кроме договоров на переводы, Бродский представил мне договоры на работы по радио и телевидению, работа по которым уже выполнена, но также еще полностью не оплачена.

Из разговора с Бродским и людьми, его знающими, я знаю, что живет Бродский очень скромно, отказывает себе в одежде и развлечениях, основную часть времени просиживает за рабочим столом. Получаемые за свою работу деньги вносит в семью.

Адвокат: Нужно ли для художественного перевода стихов знать творчество автора вообще?

Грудинина: Да, для хороших переводов, подобных переводам Бродского, надо знать творчество автора и вникнуть в его голос.

Адвокат: Уменьшается ли оплата за переводы, если переводил по подстрочникам?

Грудинина: Да, уменьшается. Переводя по подстроч-

никам венгерских поэтов, я получала за строчку на рубль (старыми деньгами) меньше.

Адвокат: Практикуется ли переводчиками работа по подстрочнику?

Грудинина: Да, повсеместно. Один из крупнейших ленинградских переводчиков, А. Гитович, переводит с древнекитайского по подстрочникам.

Заседатель Лебедева: Можно ли самоучкой выучить чужой язык?

Грудинина: Я изучила самоучкой два языка в дополнение к тем, которые изучила в университете.

Адвокат: Если Бродский не знает сербского языка, может ли он, несмотря на это, сделать высокохудожественный перевод?

Грудинина: Да, конечно.

Адвокат: А не считаете ли вы подстрочник предосудительным использованием чужого труда?

Грудинина: Боже сохрани.

Заседатель Лебедева: Вот я смотрю книжку. Тут же у Бродского всего два маленьких стишка.

Грудинина: Я хотела бы дать некоторые разъяснения, касающиеся специфики литературного труда. Дело в том...

Судья: Нет, не надо. Так, значит, какое ваше мнение о стихах Бродского?

Грудинина: Мое мнение, что как поэт он очень талантлив и на голову выше многих, кто считается профессиональным переводчиком.

Судья: А почему он работает в одиночку и не посещает никаких литобъединений?

Грудинина: В 1958 году он просил принять его в мое литобъединение. Но я слышала о нем, как об истеричном юноше, и не приняла его, оттолкнув собственными руками. Это была ошибка, я очень о ней жалею. Сейчас

я охотно возьму его в свое объединение и буду с ним работать, если он этого захочет.

Заседатель Тяглый: Вы сами когда-нибудь лично видели, как он лично трудится над стихами или он пользовался чужим трудом.

Грудинина: Я не видела, как Бродский сидит и пишет. Но я не видела и как Шолохов сидит за письменным столом и пишет. Однако это не значит, что...

Судья: Неудобно сравнивать Шолохова и Бродского. Неужели вы не разъяснили молодежи, что государство требует, чтобы молодежь училась? Ведь у Бродского всего семь классов.

Грудинина: Объем знаний у него очень большой. Я в этом убедилась, читая его переводы.

Сорокин: Читали ли вы его нехорошие порнографические стихи?

Грудинина: Нет, никогда.

Адвокат: Вот о чем я хочу вас спросить, свидетельница. Продукция Бродского за 1963 год такая: стихи в книге "Заря над Кубой", переводы стихов Галчинского (правда, еще не опубликованные), стихи в книге "Югославские поэты", песни гаучо и публикации в "Костре". Можно ли считать это серьезной работой?

Грудинина: Да, несомненно. Это наполненный работой год. А деньги эта работа может принести не сегодня, а несколько лет спустя. Неправильно определять труд молодого поэта суммой полученных в данный момент гонораров. Молодого автора может постичь неудача, может потребоваться новая длительная работа. Есть такая шутка: разница между тунеядцем и молодым поэтом в том, что тунеядец не работает и ест, а молодой поэт работает, но не всегда ест.

Судья: Нам не понравилось это ваше заявление. В

нашей стране каждый человек получает по своему труду и потому не может быть, чтобы он работал много, а получал мало. В нашей стране, где такое большое участие уделяется молодым поэтам, вы говорите, что они голодают. Почему вы сказали, что молодые поэты не едят?

Грудинина: Я так не сказала. Я предупредила, что это шутка, в которой есть доля правды. У молодых поэтов очень неравномерный заработок.

Судья: Ну, это уж от них зависит. Нам этого не надо разъяснять. Ладно, вы разъяснили, что ваши слова шутка. Примем это объяснение.

Вызывается новый свидетель — Эткинд Ефим Григорьевич.

Судья: Дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. (Берет паспорт) Эткинд... Ефим Гиршевич... Мы вас слушаем.

Эткинд (он член Союза писателей, преподаватель Института имени Герцена): По роду моей общественно-литературной работы, связанной с воспитанием начинающих переводчиков, мне часто приходится читать и слушать переводы молодых литераторов. Около года назад мне довелось познакомиться с работами И. Бродского. Это были переводы стихов польского поэта Галчинского, стихи которого у нас еще мало известны и почти не переводились. На меня произвели сильное впечатление ясность поэтических оборотов, музыкальность, страстность и энергия стиха. Поразило меня и то, что Бродский самостоятельно, без всякой посторонней помощи изучил польский язык. Стихи Галчинского он прочел по-польски с таким же увлечением, с каким он читал свои русские переводы. Я понял, что имею дело с человеком редкой одаренности и — что не менее важно

– трудоспособности и усидчивости. Переводы, которые я имел случай читать позднее, укрепили меня в этом мнении. Это, например, переводы из кубинского поэта Фернандеса, оупбликованные в книге "Заря над Кубой", и из современных югославских поэтов, печатаемые в сборнике Гослитиздата. Я много беседовал с Бродским и удивился его познаниям в области американской, английской и польской литературы.

Перевод стихов – труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта. На этом пути литератора могут ожидать бесчисленные неудачи, а материальный доход – дело далекого будущего. Можно несколько лет переводить стихи и не заработать этим ни рубля. Такой труд требует самоотверженной любви к поэзии и к самому труду. Изучение языков, истории, культуры другого народа – все это дается далеко не сразу. Все, что я знаю о работе Бродского, убеждает меня, что перед ним как поэтом-переводчиком большое будущее. Это не только мое мнение. Бюро секции переводчиков, узнав о том, что издательство расторгло с Бродским заключенные с ним договоры, приняло единодушное решение ходатайствовать перед директором издательства о привлечении Бродского к работе, о восстановлении с ним договорных отношений.

Мне доподлинно известно, что такого же мнения придерживаются крупные авторитеты в области поэтического перевода, Маршак и Чуковский, которые...

Судья: Говорите только о себе.

Эткинд: Бродскому нужно предоставить возможность работать как поэту-переводчику. Вдали от большого города, где нет ни нужных книг, ни литературной среды, это очень трудно, почти невозможно: на этом пути, по моему глубокому убеждению, его ждет большое будущее. Должен сказать, что я очень уди-

вился, увидев объявление: "Суд над тунеядцем Бродским".

Судья: Вы же знали это сочетание.

Эткинд: Знал. Но никогда не думал, что такое сочетание будет принято судом. При стихотворной технике Бродского ему ничего не мешало бы халтурить, он мог бы переводить сотни строк, если бы он работал легко, облегченно. Тот факт, что он зарабатывал мало денег, не означает, что он не трудолюбив.

Судья: А почему он не состоит ни в каком коллективе?

Эткинд: Он бывал на наших переводческих семинарах...

Судья: Ну, семинары...

Эткинд: Он входит в этот семинар в том смысле...

Судья: А если без смысла? (Смех в зале).

То есть я хочу спросить: почему он не входил ни в какое объединение?

Эткинд: У нас нет членства, поэтому я не могу сказать "входил". Но он ходил к нам, читал свои переводы.

Судья (Эткинду): Были ли у вас недоразумения в работе, в вашей личной жизни?

Эткинд (с удивлением): Нет. Впрочем, я уже два дня не был в Институте. Может быть, там что-нибудь и произошло.

(Вопрос аудитории и, по-видимому, свидетелю остался непонятым.)

Судья: Почему вы, говоря о познаниях Бродского, напирали на иностранную литературу? А почему вы не говорите про нашу, отечественную литературу?

Эткинд: Я говорил с ним как с переводчиком и

поэтому интересовался его познаниями в области американской, английской, польской литературы. Они велики, разнообразны и не поверхностны.

Смирнов (свидетель обвинения, начальник Дома Обороны): Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей, как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить. Разум — оружие, опасное для его владельца. Все говорили, что он — умный, и чуть ли не гениальный. Но никто не сказал, каков он человек. Выросши в интеллигентной семье, он имеет только семилетнее образование. Вот тут пусть присутствующие скажут, хотели бы они сына, который имеет только семилетку? В армию он не пошел, потому что был единственный кормилец семьи. А какой же он кормилец? Тут говорят, — талантливый переводчик, а почему никто не говорит, что у него много путаницы в голове? И антисоветские строчки?

Бродский: Это неправда.

Смирнов: Ему надо изменить многие свои мысли. Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни. Это сиятельные друзья стали звонить во все колокола и требовать — ах, спасите молодого человека. А его надо лечить принудительным трудом, и никто ему не поможет, никакие сиятельные друзья. Я лично его не знаю. Знаю про него из печати. И со справками знаком. Я медицинскую справку, которая освободила его от службы в армии, подвергаю сомнению. Я не медицина, но подвергаю сомнению.

Бродский: Когда меня освободили, как единственного кормильца, отец болел, он лежал после инфаркта, а я работал и зарабатывал. А потом болел я. Откуда вы обо мне знаете, чтоб так обо мне говорить?

Смирнов: Я познакомился с вашим личным дневником.

Бродский: На каком основании?

Судья: Я снимаю этот вопрос.

Смирнов: Я читал его стихи.

Адвокат: Вот в деле оказались стихи, не принадлежащие Бродскому. А откуда вы знаете, что стихи, прочитанные вами, действительно его стихи? Ведь вы говорите о стихах неопубликованных.

Смирнов: Знаю и все.

Судья: Свидетель Логунов.

Логунов (заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части): С Бродским я лично не знаком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так жить, как живет Бродский, больше нельзя. Я не позавидовал бы родителям, у которых такой сын. Я работал с писателями, я среди них вращался. Я сравниваю Бродского с Олегом Шестинским — Олег ездил с агитбригадой, он окончил Ленинградский государственный университет и университет в Софии. И еще Олег работал в шахте. Я хотел выступить в том плане, что надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами. Бродский должен начать свою жизнь по-новому.

Адвокат: Надо же все-таки, чтобы свидетели говорили о фактах. А они...

Судья: Вы можете потом дать оценку свидетельским показаниям. Свидетель Денисов.

Денисов (трубоукладчик УНР-20): Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель

общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеки – нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский? Меня не удовлетворяют показания Бродского, что он знал много специальностей. Ни одну специальность за такой короткий срок не изучить. Говорят, что Бродский представляет собою что-то как поэт. Почему же он не был членом ни одного объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом? Ведь Энгельс считает, что труд создал человека. А Бродского эта формулировка не удовлетворяет. Он считает иначе. Может, он очень талантливый, но почему же он не находит дороги в нашей литературе? Почему он не работает? Я хочу подсказать мнение, что меня его трудовая деятельность, как рабочего, не удовлетворяет.

Судья: Свидетель Николаев.

Николаев (пенсионер): Я лично с Бродским не знаком. Я хочу сказать, что знаю о нем три года по тому глетворному влиянию, которое он оказывает на своих сверстников. Я отец. Я на своем примере убедился, как тяжело иметь такого сына, который не работает. Я у моего сына не однажды видел стихи Бродского. Поэму в 42-х главах и разрозненные стихи. Я знаю Бродского по делу Уманского. Есть пословица: скажи, кто твои друзья. Я Уманского знал лично. Он отъявленный антисоветчик. Слушая Бродского, я узнавал своего сына. Мой сын тоже говорил, что считает себя гением. Он, как Бродский, не хочет работать. Люди, подобные Бродскому и Уманскому, оказывают глетворное влияние на своих сверстников. Я удивляюсь

родителям Бродского. Они, видимо, подпевали ему. Они пели ему в унисон. По форме стиха видно, что Бродский может сочинять стихи. Но нет, кроме вреда, эти стихи ничего не приносили. Бродский не просто тунеядец. Он — воинствующий тунеядец. С людьми, подобными Бродскому, надо действовать без пощады. (Аплодисменты).

Заседатель Тяглый: Вы считаете, что на вашего сына повлияли стихи Бродского?

Николаев: Да.

Судья: Отрицательно повлияли?

Николаев: Да.

Адвокат: Откуда вы знаете, что это стихи Бродского?

Николаев: Там была папка, а на папке написано "Иосиф Бродский".

Адвокат: Ваш сын был знаком с Уманским?

Николаев: Да.

Адвокат: Почему же вы думаете, что это Бродский, а не Уманский тлетворно повлиял на вашего сына?

Николаев: Бродский и иже с ним. У Бродского стихи позорные и антисоветские.

Бродский: Назовите мои антисоветские стихи. Скажите хоть строчку из них.

Судья: Цитировать не позволю.

Бродский: Но я же хочу знать, о каких стихах идет речь. Может, они не мои?

Николаев: Если бы я знал, что буду выступать в суде, я бы сфотографировал и принес.

Судья: Свидетельница Ромашова.

Ромашова (преподавательница марксизма-ленинизма в училище имени Мухиной): Я лично Бродского не знаю. Но его так называемая деятельность мне

известна. Пушкин говорил, что талант — это прежде всего труд. А Бродский? Разве он трудится? Разве он работает над тем, чтобы сделать свои стихи понятными народу? Меня удивляет, что мои коллеги создают такой ореол вокруг него. Ведь это только в Советском Союзе может быть, чтобы суд так доброжелательно говорил с поэтом, так по-товарищески советовал ему учиться. Я, как секретарь партийной организации училища имени Мухиной, могу сказать, что он плохо влияет на молодежь.

Адвокат: Вы когда-нибудь видели Бродского?

Ромашова: Никогда. Но так называемая деятельность Бродского позволяет мне судить о нем.

Судья: А факты вы можете какие-нибудь привести?

Ромашова: Я, как воспитательница молодежи, знаю отзывы молодежи о стихах Бродского.

Адвокат: А сами вы знакомы со стихами Бродского?

Ромашова: Знакома. Это у-ужас. Не считаю возможным их повторять. Они ужа-а-сны.

Судья: Свидетель Адмони. Если можно, ваш паспорт, поскольку фамилия необычная.

Адмони (профессор Института имени Герцена, лингвист, литературовед, переводчик): Когда я узнал, что Иосифа Бродского привлекают к суду по обвинению в тунеядстве, я счел своим долгом высказать перед судом и свое мнение. Я считаю себя вправе сделать это в силу того, что 30 лет работаю с молодежью, как преподаватель вузов, в силу того, что я давно занимаюсь переводами.

С И. Бродским я почти не знаком. Мы здороваемся, но, кажется, не обменялись даже двумя фразами. Однако в течение, примерно, последнего года или несколь-

ко больше я пристально слежу за его переводческими работами — по его выступлениям на переводческих вечерах, по публикациям. Потому что это переводы талантливые, яркие. И, на основании этих переводов из Галчинского, Фернандеса и других, я могу со всей ответственностью сказать, что они требовали чрезвычайно большой работы со стороны автора. Они свидетельствуют о большом мастерстве и культуре переводчика. А чудес не бывает. Сами собой ни мастерство, ни культура не приходят. Для этого нужна постоянная и упорная работа. Даже если переводчик работает по подстрочнику, он должен, чтобы перевод был полноценным, составить себе представление о том языке, с которого он переводит, почувствовать строй этого языка, должен узнать жизнь и культуру народа и так далее. А Иосиф Бродский, кроме того, изучил и сами языки. Поэтому для меня ясно, что он трудится — трудится напряженно и упорно. А когда я сегодня — только сегодня — узнал, что он вообще кончил только семь классов, то для меня стало ясно, что он должен был вести поистине гигантскую работу, чтобы приобрести такое мастерство и такую культуру, которыми он обладает. К работе поэта-переводчика относится то, что Маяковский говорил о работе поэта: "Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды".

Тот указ, по которому привлечен к ответственности Бродский, направлен против тех, кто мало работает, а не против тех, кто мало зарабатывает. Тунеядцы это те, кто мало работают. Поэтому обвинение И. Бродского в тунеядстве является нелепостью. Нельзя обвинить в тунеядстве человека, который работает так, как И. Бродский — работает упорно, много — не думая о больших заработках, готовый ограничить себя самым

необходимым, чтобы только совершенствоваться в своем искусстве и создавать полноценные художественные произведения.

Судья: Что вы говорили о том, что не надо судить тех, кто мало зарабатывает?

Адмони: Я говорил: суть указа в том, чтобы судить тех, кто мало работает, а не тех, кто мало зарабатывает.

Судья: Что же вы хотите этим сказать? А вы читали указ от 4 мая? Коммунизм создается только трудом миллионов.

Адмони: Всякий труд, полезный для общества, должен быть уважаем.

Заседатель Тяглый: Где Бродский читал свои переводы и на каких иностранных языках он читал?

Адмони (улыбнувшись): Он читал по-русски. Он переводит с иностранного языка на русский.

Судья: Если вас спрашивает простой человек, вы должны ему объяснить, а не улыбаться.

Адмони: Я и объясняю, что он переводит с польского и сербского на русский.

Судья: Говорите суду, а не публике.

Адмони: Прошу простить меня. Это профессорская привычка — говорить, обращаясь к аудитории.

Судья: Свидетель Воеводин. Вы лично Бродского знаете?

Воеводин (член Союза писателей): Нет. Я только полгода работаю в Союзе. Я лично с ним знаком не был. Он мало бывает в Союзе, только на переводческих вечерах. Он, видимо, понимал, как встретят его стихи и потому не ходил на другие объединения. Я читал его эпиграммы. Вы покраснели бы, товарищи судьи, если бы

их прочитали. Здесь говорили о таланте Бродского. Талант измеряется только народным признанием. А этого признания нет и быть не может.

В Союз писателей была передана папка стихов Бродского. В них три темы: первая тема — отрешенности от мира, вторая — порнографическая, третья тема — тема нелюбви к родине, к народу, где Бродский говорит о родине чужой. Погодите, сейчас вспомню... "однообразна русская толпа". Пусть эти безобразные стихи останутся на его совести. Поэта Бродского не существует. Переводчик, может, и есть, а поэт не существует. Я абсолютно поддерживаю мнение товарища, который говорил о своем сыне, на которого Бродский влиял глетворно. Бродский отрывает молодежь от труда, от мира и жизни. В этом большая антиобщественная роль Бродского.

Судья: Обсуждали вы на комиссии талант Бродского?

Воеводин: Было одно короткое собрание, на котором речь шла о Бродском. Но обсуждение не вылилось в широкую дискуссию. Повторяю, Бродский ограничивался полупохабными эпиграммами, а в Союз ходил редко. Мой друг, поэт Куклин, однажды громогласно с эстрады заявил о своем возмущении стихами Бродского.

Адвокат: Справку, которую вы написали о Бродском, разделяет вся комиссия?

Воеводин: С Эткиндо, который придерживается другого мнения, мы справку не согласовывали?

Адвокат: А остальным членам комиссии содержание вашей справки известно?

Воеводин: Нет, она известна не всем членам комиссии.

Бродский: А каким образом у вас оказались мои стихи и мой дневник?

Судья: Я этот вопрос снимаю. Гражданин Бродский, вы работали от случая к случаю. Почему?

Бродский: Я уже говорил: я работал все время. Штатно, а потом писал стихи. (С отчаянием.) Это работа — писать стихи.

Судья: Но ваш заработок очень невелик. Вы говорите, за год получаете 250 рублей, а по справкам, которые представила милиция — сто рублей.

Адвокат: На предыдущем суде было постановлено, чтобы милиция проверила справки о зарплате, а это не было сделано.

Судья: Вот в деле есть договор, который прислали из издательства. Так ведь это просто бумажка, никем не подписанная.

(Из публики посылают судье записку о том, что договоры сначала подписывает автор, а потом руководители издательства.)

Судья: Прошу мне больше записок не посылать.

Сорокин (общественный обвинитель): Наш великий народ строит коммунизм. В советском человеке развивается замечательное качество — наслаждение общественно-полезным трудом. Процветает только то общество, где нет безделья. Бродский далек от патриотизма. Он забыл главный принцип — кто не работает, тот не ест. А Бродский на протяжении многих лет ведет жизнь тунеядца. В 1956 году он бросил школу и поступил на завод. Ему было 15 лет. В том же году — увольняется. (Повторяет послужной список и перерывы в штатной работе снова объясняет бездельем. Будто и не звучали все объяснения свидетелей защиты о том, что литературный труд — тоже работа.)

Мы проверили, что Бродский за одну работу получил только 37 рублей, а он говорит — 150 рублей.

Бродский: Это аванс. Это только аванс. Часть того, что я потом получу.

Судья: Молчите, Бродский.

Сорокин: Там, где Бродский работал, он всех возмущал своей недисциплинированностью и нежеланием работать. Статья в "Вечернем Ленинграде" вызвала большой отклик. Особенно много писем поступило от молодежи. Она резко осудила поведение Бродского. (Читает письма.) Молодежь считает, что ему не место в Ленинграде. Что он должен быть сурово наказан. У него полностью отсутствует понятие о совести и долге. Каждый человек считает счастьем служить в армии. А он уклонился. Отец Бродского послал своего сына на консультацию в диспансер, и он приносит оттуда справку, которую принял легковерный военкомат. Еще до вызова в военкомат Бродский пишет своему другу Шахматову, ныне осужденному: "Предстоит свидание с комитетом обороны. Твой стол станет надежным убежищем моих ямбов".

Он принадлежал к компании, которая сатанинским хохотом встречала слово "труд" и с почтением слушала своего фюрера Уманского. Бродского объединяет с ним ненависть к труду и советской литературе. Особенным успехом пользуется здесь набор порнографических слов и понятий. Шахматова Бродский называл сэром. Не иначе. Шахматов был осужден. Вот из какого зловонного местечка появился Бродский. Говорят об одаренности Бродского. Но кто это говорит? Люди, подобные Бродскому и Шахматову.

Выкрик из зала: Кто? Чуковский и Маршак подобны Шахматову?

(Дружинники выводят кричавшего).

Сорокин: Бродского защищают прощелыги, тунеядцы, мокрицы и жучки. Бродский не поэт, а человек,

пытающийся писать стихи. Он забыл, что в нашей стране человек должен трудиться, создавать ценности: станки, хлеб. Бродского надо заставить трудиться насильно. Надо выселить его из города-героя. Он — тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек. Почитатели Бродского брызжут слюной. А Некрасов сказал:

*Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.*

Мы сегодня судим не поэта, а тунеядца. Почему тут защищали человека, ненавидящего свою родину? Надо проверить моральный облик тех, кто его защищал. Он писал в своих стихах: "Люблю я родину чужую". В его дневниках есть запись: "Я уже давно думал насчет выхода за красную черту. В моей рыжей голове созревают конструктивные мысли". Он писал еще так: "Стокгольмская ратуша внушает мне больше уважения, чем пражский Кремль". Маркса он называет так: "Старый чревоугодник, обрамленный венком из еловых шишек". В одном письме он пишет: "Плевать я хотел на Москву".

Вот чего стоит Бродский и все, кто его защищают.

(Затем цитируется письмо одной девушки, которая с неуважением пишет о Ленине. Какое отношение ее письмо имеет к Бродскому, совершенно нам неясно. Оно не им написано и не ему адресовано.)

В эту минуту судья обращается ко мне:

— Прекратите записывать.

Я: Товарищ судья, я прошу разрешить мне записывать.

Судья: Нет.

Я: Я журналист, член Союза писателей, я пишу о

воспитании молодежи, я прошу разрешить мне записывать.

Судья: Я не знаю, что вы там записываете. Прекратите.

Из публики: Отнять у нее записи.

Сорокин продолжает свою речь, потом говорит защитница, речь которой я могу изложить только тезисно, поскольку писать мне запретили.

Тезисы речи защитницы.

Общественный обвинитель использовал материалы, которых в деле нет, которые в ходе дела возникают впервые и по которым Бродский не допрашивался и объяснений не давал.

Подлинность материалов из заслушанного в 1961 году специального дела нами не проверена и то, что общественный обвинитель цитировал, мы не можем проверить. Если речь идет о дневнике Бродского, то он относится к 1956 году. Это юношеский дневник. Общественный обвинитель приводит, как мнение общественности, письма читателей в редакцию газеты "Вечерний Ленинград". Авторы писем Бродского не знают, стихов его не читали и судят по тенденциозной и во многом неверной по фактам газетной статье. Общественный обвинитель оскорбляет не только Бродского: "хам", "тунеядец", "антисоветский элемент", но и лиц, вступившихся за него: Маршака и Чуковского, уважаемых свидетелей. Вывод: не располагая объективными доказательствами, общественный обвинитель пользуется недозволенными приемами.

Чем располагает обвинение?

а) Справка о трудовой деятельности с 1956 по 1962 год. В 1956 году Бродскому было 16 лет; он мог вообще учиться и быть по закону на иждивении

родителей до 18 лет. Частая смена работ — влияние психопатических черт характера и неумение сразу найти свое место в жизни. Перерывы, в частности, объясняются сезонной работой в экспедициях. Нет причины до 1962 года говорить об уклонении от труда.

(Адвокат говорит о своем уважении к заседателям, но сожалеет, что среди заседателей нет человека, который был бы компетентен в вопросах литературного труда. Когда обвиняют несовершеннолетнего — непременно есть заседатель педагог, если на скамье подсудимых врач, среди заседателей необходим врач. Почему же этот справедливый и разумный обычай забывается, когда речь идет о литературе?)

б) Штатно Бродский не работает с 1962 года. Однако представленные договоры с издательством от XI.1962 г. и X.1963 г., справка студии телевидения, справка журнала "Костер", вышедшая книга переводов югославских поэтов свидетельствуют о творческой работе. Качество этой работы. Есть справка, подписанная Е. Воеводиным, резко отрицательная, с недопустимыми обвинениями в антисоветской деятельности, справка, напоминающая документы худших времен культа личности. Выяснилось, что справка эта на Комиссии не обсуждалась, членам Комиссии неизвестна, является собственным мнением прозаика Воеводина. Есть отзыв таких людей, как Маршак и Чуковский. Свидетели В. Адмони — крупный литературовед, лингвист, переводчик, Е. Эткинд — знаток переводческой литературы, член бюро секции переводчиков и член Комиссии по работе с молодыми авторами — все они высоко оценивают работу Бродского и говорят о большой затрате труда, требуемого для издания написанного им за 1963 год. Вывод: справка Воеводина не может опровергнуть мнение этих лиц.

в) Ни один из свидетелей обвинения Бродского не знает, стихов его не читал; свидетели обвинения дают показания на основании каких-то непонятным путем полученных и непроверенных документов и высказывают свое мнение, произнося обвинительные речи.

Другими материалами обвинение не располагает.

Суд должен исключить из рассмотрения:

1. Материалы специального дела, рассмотренного в 1961 году, по которому в отношении Бродского было вынесено постановление — дело прекратить.

Если бы Бродский тогда или позднее совершил антисоветское преступление, написал бы антисоветские стихи, — это было бы предметом следствия органов госбезопасности.

Бродский, действительно, был знаком с Шахматовым и Уманским и находился под их влиянием. Но, к счастью, он давно от этого влияния освободился. Между тем, общественный обвинитель зачитывал записи тех лет, преподнося их вне времени и пространства, чем, естественно, вызвал гнев у публики по адресу Бродского. Общественный обвинитель создал впечатление, что Бродский и сейчас придерживается своих давнишних взглядов, что совершенно неверно. Многие молодые люди, входившие в компанию Уманского, благодаря вмешательству разумных, взрослых людей, были возвращены к нормальной жизни. То же самое происходило в последние два года с Бродским. Он стал много и плодотворно работать. Но тут его арестовали.

2. Вопрос о качестве стихов самого Бродского.

Мы еще не знаем, какие из приложенных к делу стихов принадлежат Бродскому, так как из его заявления видно, что там есть ряд стихов, ему не принадлежащих.

Для того, чтобы судить, упаднические это стихи, пессимистические или лирические, должна быть авторитетная литературоведческая экспертиза, и этот вопрос ни суд, ни стороны сами разрешить не смогут.

Наша задача — установить, является ли Бродский тунеядцем, живущим на нетрудовые доходы, ведущим паразитический образ жизни.

Бродский — поэт-переводчик, вкладывающий свой труд по переводу поэтов братских республик, стран народной демократии в дело борьбы за мир. Он не пьяница, не аморальный человек, не стяжатель. Его упрекают в том, что он мало получал гонорара, следовательно и не работал. (Адвокат дает справку о специфике литературного труда, порядке оплаты. Говорит об огромной затрате труда при переводах, о необходимости изучения иностранных языков, творчества переводимых поэтов. О том, что не все представленные работы принимаются и оплачиваются.)

Система авансов. Суммы, фигурирующие в деле, неточны. По заявлению Бродского, их больше. Надо было бы это проверить. Суммы незначительные. На что жил Бродский? Бродский жил с родителями, которые на время становления его, как поэта, поддерживали его.

Никаких нетрудовых источников существования у него не было. Жил скудно, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом.

Выводы:

Не установлена ответственность Бродского. Бродский не тунеядец, и меры административного воздействия применять к нему нельзя.

Значение указа от 4/II.1961 года очень велико. Он — оружие очистки города от действительных тунеядцев

и паразитов. Неосновательное привлечение дискредитирует указ.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 10/III.1963 года обязывает суд критически относиться к представленным материалам, не допускать осуждения тех, кто работает, соблюдать права привлеченных на то, чтобы ознакомиться с делом и представить доказательства своей невиновности.

Бродский был необоснованно задержан с 13/II.1964 года и был лишен возможности представить доказательства своей невиновности.

Однако и представленных доказательств того, что было сказано на суде, достаточно, чтобы сделать вывод о том, что Бродский не тунеядец.

(Суд удаляется на совещание. Объявляется перерыв.)

Суд возвращается, и судья зачитывает приговор:

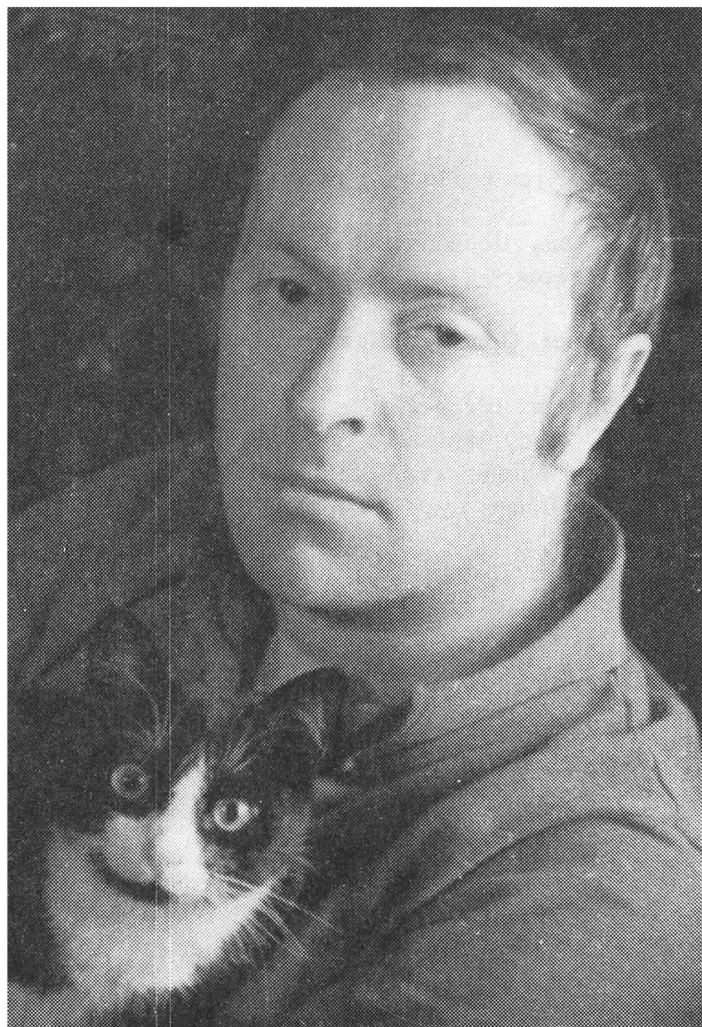
Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы. Предупреждался органами МГБ в 1961 году и в 1962 — милицией. Обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал, продолжал не работать, писал и читал на вечерах свои упадочнические стихи. Из справки Комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты "Вечерний Ленинград". Поэтому суд применяет указ от 4/V.1961 года: сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда.

Дружинники (проходя мимо защитницы): Что? Проиграли дело, товарищ адвокат?

СОДЕРЖАНИЕ

1. Странный выбор	5
2. Метафизическая поэзия или поэтическая метафизика	11
3. Начало травли	15
"Окололитературный трутень"	16
4. Десять обвинений	24
5. Поэт-тунеядец	30
6. Неравный поединок	42
7. Отступление о Фриде Вигдоровой	49
8. Первый суд	58
9. Второй суд	65
10. Отступление в сослагательном наклонении о Пушкине	68
11. Торжество правосудия	69

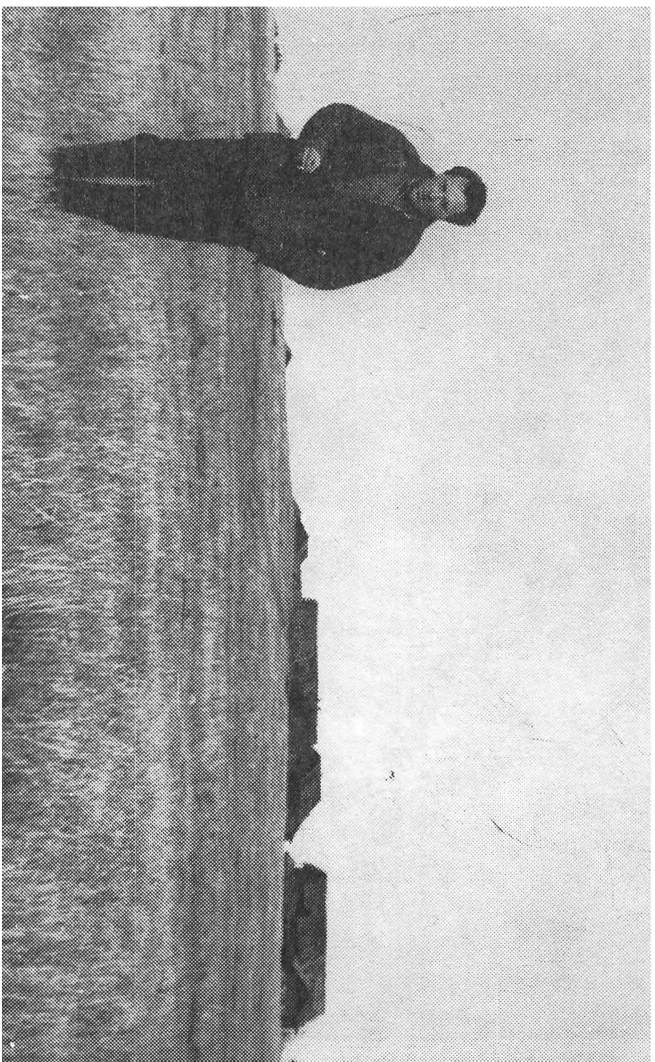
12. Разговор в зале	74
13. Отступление о взбесившейся форме	76
14. От 1958-го к 1964-му году	78
Шарль Добжинский. Открытое письмо советскому судье	82
Раиса Орлова. "Поворотное дело"	89
Лидия Чуковская:	
I. "Зову живых!"	100
II. "Тринадцатый подвиг Геракла"	107
III. После смерти Фриды Вигдоровой	119
Раиса Орлова, Лев Копелев. Рождается общественное мнение	122
15. Обвиняемые свидетели	125
16. КГБ – десять лет спустя	130
Открытое письмо советским чиновникам	137
Приложение	143



Иосиф Бродский



Фрида Вигдорова, июнь 1954 г. (Фото Е. Эткинда)



Иосиф Бродский в ссылке в Архангельской области, 1965 г.



Прощание перед отъездом И. Бродского в эмиграцию, 20 мая 1972 г.



Прощание перед отъездом, 20 мая, 1972 г.

*Слева направо: Маша Эткинц, И. Бродский, Е. Эткинц,
Томас Венцлова, его жена Эра*